

А.С. СЕРАФИМОВИЧ

Александр Серафимович Серафимович

Очерки. Статьи. Фельетоны. Выступления

Серафимович (настоящая фамилия — Попов) Александр Серафимович (1863 — 1949), прозаик.

Родился 7 января (19 н.с.) в станице Нижне-Курмоярской. Области Войска Донского, в семье казачьего есаула. Детские годы провел в казачьих полках в Польше. В 1873 семья вернулась на Дон в станицу Усть-Медведицкую. Поступил учиться в классическую гимназию.

Смерть отца и материальные лишения осложнили жизнь, но гимназию окончил и в 1883 поступил на математическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Чувствуя нехватку знаний, посещает дополнительные лекции отдельных профессоров на юридическом и естественном факультетах и штудировает общественно-экономические науки. Сближается с революционно настроенными студенческими кругами. В 1887 был привлечен к дознанию по делу А.Ульянова и сослан в Архангельскую губернию под надзор полиции, где пробыл три года.

Вернувшись на Дон (1890), установил связи с местными народовольческими группами, ведущими пропа-

ганду среди рабочих.

Впечатления от ссылки нашли отражение в его первых рассказах — "На льдине"(1889), "Снежная пустыня", "На плотях" (1890), отмеченных Успенским и Короленко. В эти годы работает в провинциальных изданиях "Донская жизнь", "Приазовский край", живет уроками. В 1901 выходит первая книга Серафимовича — "Очерки и рассказы", — решившая судьбу писателя: он переезжает в Москву (1902) и всецело отдается литературной и журналистской работе.

Знакомится с Горьким, сотрудничает в издательстве "Знание", которое в 1903 — 08 выпустило трехтомник его рассказов.

Во время первой мировой войны был на фронте в составе санитарного отряда, о чем позднее напишет в очерках и рассказах.

С первых же дней Октябрьской революции активно включился в культурное строительство молодой республики: заведовал литературно-художественным отделом "Известий", агитмассовым отделом Моссовета, был военным корреспондентом "Правды".

Главной книгой Серафимовича стал роман "Железный поток", который он писал два с половиной года (опубликован в 1924), стремясь передать правду "...не фотографическую, а... синтетическую, обобщенную".

В 1930-е Серафимович выступил с серией очерков о коллективизации — "По донским степям", с рассказами о прошлом и настоящем.

Во время Отечественной войны, несмотря на свой преклонный возраст — более 80 лет, — выезжал на фронт в район Орловской битвы. Умер А.Серафимович в Москве 19 января 1949.

Содержание

СУМЕРКИ	0008
КАК СОЗДАЕТСЯ ГАЗЕТА	0019
ОПЯТЬ ПОСЕТИТЕЛИ	0034
[САРКАЗМ — МОГУЧЕЕ ОРУЖИЕ]	0042
[СТРАННЫЕ, ПОДЧАС ТРУДНО ОБЪЯСНИМЫЕ ВЕЩИ...]	0047
[ИЗ ВСЕХ ЗОЛ И НЕСЧАСТИЙ...]	0051
БРАТЬЯ-ГАЗЕТЧИКИ	0057
[УМЕР ДОКТОР ФИЛОСОФИИ ФИЛИППОВ]	0064
ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ	0068
ПИСАТЕЛЬ И ЧИТАТЕЛЬ	0078
ТРЕЩИНА	0083
ПАУКИ И КРОВСОСОСЫ	0087
В КАПЛЕ	0109
ОСИНОЕ ГНЕЗДО	0124
КАК МЫ ЧИТАЛИ КАРЛА МАРКСА	0135
ИЗ МРАМОРА ТВОРЯЩИЙ ЖИЗНЬ	0142
К. А. ТИМИРЯЗЕВ	0146
РАБОТНИКИ ЗЕМЛИ СОВЕТСКОЙ (IX съезд Советов открыт)	0156
Т. Г. ШЕВЧЕНКО	0162
АНИСИМОВИЧ	0164
КРУЖКОВОЕ ЗАНЯТИЕ РАБОТНИКОВ	0166
ПРЕДИСЛОВИЕ К «МЯТЕЖУ» Дм. ФУРМАНОВА	0171

ФЕДОР ГЛАДКОВ И ЕГО «ЦЕМЕНТ»	0173
УМЕР ХУДОЖНИК РЕВОЛЮЦИИ	0182
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ДОНСКИМ РАССКАЗАМ» М. ШОЛОХОВА	0186
ЕСЕНИН	0187
ВЕЧЕРА РАБОЧЕЙ КРИТИКИ	0190
ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ	0198
ОТКУДА ПОВЕЛИСЬ СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ .	0212
ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ	0218
ТИССА ГОРИТ	0225
ЖИВОЙ ЗАВОД (Впечатления)	0231
РАССКАЗ О ПЕРВОМ РАССКАЗЕ	0240
О ПИСАТЕЛЯХ «ОБЛИЗАННЫХ» И «НЕОБЛИЗАННЫХ»	0247
ОТВЕТ А. М. ГОРЬКОМУ	0253
РАДИОПЕРЕКЛИЧКА ПИСАТЕЛЕЙ	0276
ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	0276
ДВЕ ВСТРЕЧИ	0285
НАПИСАНО ТАК, ЧТО ЗАПОМИНАЕТСЯ	0292
ХУДОЖНИК СЛОВА	0300
МОИ ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ	0306
ПИСАТЕЛЬ-ПАТРИОТ	0317
В ГОСТЯХ У ЛЕНИНА	0320
МОСКВА	0329
ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРЬКОМ	0338
МИХАИЛ ШОЛОХОВ И ЕГО «ТИХИЙ ДОН» . .	0351
МИХАИЛ ШОЛОХОВ	0357

ИЗ ИСТОРИИ «ЖЕЛЕЗНОГО ПОТОКА»	0373
С ВЫСОТЫ ВОСЬМИДЕСЯТИ ПЯТИ ЛЕТ	0439
Примечания	0442

**Очерки. Статьи. Фельетоны.
Выступления**

СУМЕРКИ

В комнате все больше и больше сгущались сумерки. Со стороны Садовой доносились звуки рожков, свистки кондукторов конки, трескотня проезжавших извозчиков. Окна темнели, очертания предметов теряли свою ясность. Я сидел, облокотившись о письменный стол, перед нетронутым еще листом бумаги. Не знаю, эта ли сгущающаяся сумеречная мгла, усталость ли от дневной суеты, или что-нибудь другое, только мной овладевала какая-то вялость, апатия; не хотелось браться за перо. Никогда не приходивший мне прежде в голову вопрос: «Зачем?» — теперь назойливо стоял в глазах. Что могут сделать этот лист бумаги, это перо и несколько капель чернил в этом огромном городе, где кипит вечная борьба из-за хлеба, из-за наслаждения, из-за денег и власти. Сколько ни пиши, сколько ни расходуешь нервной силы, все равно жизнь будет идти своим чередом, все равно будут воровать, обманывать, душить слабого, лгать перед сильным, все равно кругом будет все та же нищета, отчаяние, злоба и

резиновые шины, бриллианты, роскошь. Я закрыл глаза, прислушиваясь к ноющей, неслышно сосавшей сердце боли. В дверь осторожно постучались.

— Войдите.

Вошел молодой человек, чистенький, выглаженный, выбритый, с небольшими напусками на щеках с висков, в безукоризненной манишке и каком-то затейливом галстуке, в ярко вычищенных сапогах. Все на нем до того было новенькое, вылощенное, вычищенное и с иголочки, что, казалось, все его силы, все напряжение его молодой здоровой природы ушло на этот внешний блеск и лоск и больше никаким другим запросам не осталось места. Я вопросительно взглянул на своего гостя.

— Мы из приказчиков будем-с, по галантейной части. К вам-с, значит, с покорнейшей просьбой, не оставьте. Как же-с, помилуйте, окончательно...

Не успел я освоиться несколько с неожиданным посещением, и не успел он договорить, как дверь отворилась и в комнату вошло несколько молоденьких девушек. Они были кокетливо одеты, у некоторых на щеках

явственно виднелись следы румян и густой слой пудры. Несколько робея и в то же время искоса бросив беглый взгляд с едва уловимой улыбкой на молодого приказчика, они подошли к столу:

— Мы... извините, пожалуйста... можно к вам... нельзя ли в газете... мы модистки и мастерицы, а она вот в шляпной работает...

За дверью по лестнице слышались чьи-то грузные, тяжелые шаги и визгливый голос кухарки:

— Нельзя сюда! Куда ты лезешь, уходи отсюда, а то я полицейского позову.

— Да мы по делу, — подавал реплики чей-то грубый медвежий и хриплый с перепоею голос.

— Говорю тебе — нельзя. Взашей полицейский выволочет.

— Да говорят тебе, по делу, мне, значит, до их дело есть и обсказать, значит, все положение и как происходит, мочи нашей нету...

— Ах ты изверг, варвар ты роду человеческого! да я тебе...

Я вышел. На лестнице кухарка, вцепившись обеими руками, стаскивала со ступенек

здоровенного малого, по-видимому берегового рабочего, а он отмахивался от нее, как от надоедливой мухи:

— Ну, чего пристала!

— Вам что угодно?

— Да я к вашей милости, а она вот прилипла, как банный лист.

Я попросил его идти за собой, и он вошел в кабинет, неуклюже и осторожно ступая, точно боялся продавить пол, и стал у притолоки. Он, видимо, стеснялся и переминался с ноги на ногу. От него пахло потом, немытым бельем, перегорелой сивухой и тютюном. Приказчик брезгливо покосился на него, а модистки отодвинулись от него к приказчику.

— Вы что-то говорить начали, — обратился я к приказчику.

— Да я, то-есть, насчет того-с, по отношению к нашему положению. Невозможно-с, что же это такое! Ведь и мы люди. Кажется, и христиане, и богу молимся, и семьи у которых из нас есть; и что же мы не знаем ни отдыха, ни сроку. Лба перекрестить некогда, ведь люди же мы. День-деньской за прилавком стоишь, измаешься, истомишься. И нико-

му до тебе дела нет. Хозяевам что, хозяевам какое дело до того будет, что мы ни бога не знаем, ни семьи не видим, а уже как вырвешься из магазина, прямо в трактир, в гостиницу, сейчас тебе мамзельку, — при этом приказчик скосил глаза на модисток, которые потупились, — ну и пошел писать. Да посудите сами, куда нам деваться. Деваться-то ведь некуда. Кто об нас позаботится. Конечно, правильно, если бы дело шло, так дума должна бы положение наше облегчить, улучшить, да как бы не так. Вы посмотрите, что они запоют там, когда подыметя вопрос о воскресном нашем отдыхе. Эх, просто читать срам: возьмешь газету — только и знаешь, то одна, то другая дума ассигновала из средств города на народный театр, на читальни, на библиотеки, народные дворцы устраивают, а наши что? Вон уже на что в Баку народ живет, только об одних деньгах и думают и то *полтора*ста тысяч ассигновали на просветительные учреждения народу. Да что говорить, стыдно за свой родной город.

Приказчик отвернулся и стал глядеть в окно.

— Так чего же вы, собственно, хотите?

— Пропишите вы их, ради господ, прохватите вы их, пожалуйста, чтобы волчком за-вертелись. Ведь к кому же нам обратиться: одна надежда на газету.

— Да вы бы обратились непосредственно к гласным, к голове, наконец в думе оппозиции есть.

— Эх, не знаете вы, видно, их. Ну что голова, у головы на руках сложное, огромное хозяйство, да и от оппозиции все отгрызаться приходится, не до нас ему, о нас они и не думают. Гласные, так они что: сидят да ковыряют у себя в носу или решают дела, близкие их сердцу; оппозиция — так та поголовно метит попасть в городские головы, ей одна только забава, как бы всячески облаять существующий режим, и облаять его не для пользы дела, а для самого облаиванья. Вы посмотрите, сделала ли оппозиция хоть одно положительное предложение? Нет. Очень ей нужны наши интересы, интересы обывателей. Эх, да что толковать: забытый мы народ.

Приказчик махнул рукой.

— Они действительно правду говорят, —

взволнованно заговорила одна из девушек, пересиливая свою робость и подступая к самому столу; густой румянец пробивался из-под неестественного цвета притираний. — Они истинную правду говорят, об нас все забыли. Мы, конечно, малограмотные, не знаем там всех делов, а только вот недавно попала ваша газета, где у вас писалось и про нашу сестру. Правда-то уж правда, что греха таить, и по гостиницам ходим... Да, господи боже мой, куда же нам деваться! Весь день-деньской, день-деньской сидишь за иглой, не знаешь ни отдыху, ни сроку, ни развлечений, все одно, все одно и то же, ведь мы живые люди. А тут уговаривают, обещались горы всего, дарят, проходу не дают, ну и... Да вот она, — и модисточка показала на стоявшую в стороне молоденькую девушку, почти ребенка, с грустными глазами, обведенными синевой, — она в шляпной мастерской работает, ей только семнадцать лет будет, а у нее уже ребенок был.

Молоденькая девушка из шляпной отвернулась; жгучие горькие слезы у нее катились из глаз. Я, наконец, не выдержал и вскочил:

— Господа, да что же я-то могу сделать? Ведь вы не знаете этих господ, их не прошибешь. Разве им можно втолковать, что позор для такого города до сих пор ничего не дать на просветительные учреждения? Ведь нельзя же у них вынуть сердце и мозг и вставить туда другие, с иными мыслями, идеями, чувствами. Ваши жалобы, ваше горе, ваши нужды для них ничего не стоят. Ведь только в самое последнее время почтеннейший Солодов перестал лезть на стену по поводу народного театра. Разве не он заявлял прежде, что ни за что не позволит своим рабочим идти в народный театр? Да ведь это один из самых лоцённых. Что же о других сказать? Вы думаете, их проймешь газетной статьей? Как бы не так. Если пригвоздить в печати на всероссийский позор, и то им как с гуся вода. Разве вы не слышали, что рабочие пастуховского завода по крохам собрали на народный театр двадцать восемь рублей, а эти господа и ухом не повели.

Рабочий, все время стоявший с вытянутой шеей, раскрытым ртом и напряжением мысли на лице, очевидно не понимавший, о чем

идет речь, и лишь инстинктивно угадывавший, вдруг шагнул ко мне и заговорил:

— Оно ежели прямо говорить, так, окромя кабака, нам некуда. Да, вашскблагородие, господин хороший, куды же нам. Сами знаете. Ну, и пьешь.

Он замолчал, глядя на меня широко раскрытыми глазами.

— Пропишите об этом самом.

Я безнадежно махнул рукой.

Посетители мои один за другим удалились. А я ходил из угла в угол, взволнованный собственным бессилием. В моем разгоряченном мозгу одна за другой вставали фантастические картины. И одна из этих картин была такая.

Обыватель, серый, усталый, с потным хмурым лицом, изборожденным морщинами повседневных забот, надоедливых, мелочных, вечно занятый, вечно копающийся в своих личных делах и делишках, изо дня в день тянет одну и ту же трудовую лямку. Он падает, встает, оправляется, душит своего ближнего или сам погибает под его натиском. Частое горе, редкая радость сменяют друг друга. Он за-

нят только своей семьей, своим домом, своей профессией. И ему некогда подумать о других, себе подобных, и об общих с ними интересах. И вот за этим-то задавленным суетой, как рыбочка об лед, бьющимся обывателем с неусыпной заботой следят мудрые старцы. В жизнь обывателя они вносят как раз то, чего ему недостает; обыватель задавлен исключительно личной жизнью, мудрые старцы блюдут его общественные интересы. Они заботятся о его здравии, об удобствах внешней жизни, об общественных развлечениях, о том, чтобы обыватель не тонул в грязи, не наставлял себе впотьмах фонарей. Но паче всего они заботятся о его духовных интересах; они строят для него целые народные дворцы, народные театры, библиотеки, читальни, музеи, школы. И на всем трудящемся люде лежит отпечаток этой заботы: девушки пользуются отдыхом, пользуются разумным развлечением и не продают себя; мужчины идут не в кабаки, гостиницы и притоны для разврата, а в народный дворец...

Я очнулся: густая серая мгла затянула весь город; отовсюду неся смрад; откуда-то изда-

лека доносились звуки оргий.

Бедный город!

КАК СОЗДАЕТСЯ ГАЗЕТА

I

Утро. В окно заглядывает дымное, закопченное городское небо. Вы только что поднялись, оделись, умылись, отгоняя последние следы ночного сна, который еще цепляется слегка за ваши ресницы. С улицы несется бесцеремонный треск извозчичьих пролетов, слышатся рожки конок, идут пешеходы, торопятся гимназистки, выкрикивают названия изданий газетные разносчики. Начинается обычный рабочий будничный день. Он ждет, чтоб надвинуть вам на шею хомут, тот хомут, которым вы тянете изо дня в день свою привычную постылую лямку в конторе, в канцелярии, в магазине, в каком-нибудь «управлении» — словом, там, куда судьба и несчастье вас запрягли. Вы торопитесь.

На столе весело кипит самовар и гостеприимно манит и ждет. Вы садитесь к столу. Возле лежит, аккуратно сложенная, свежая, слегка влажная, еще пахнувшая краской газета. И как бы вы ни спешили, как бы ни торопились, какая бы кислая рожа вашего хозяина

или начальника ни ожидала вас, вы, прихлебывая из стакана и косясь глазами на газетный лист, пробегаете телеграммы о войне, о гибели парохода, о свидании императоров, об убийстве, о мордобитии в городской думе, о прибыли воды, о колебании биржи, затем, разом отхлебнув полстакана, скользите по местной хронике — кража, убийства, думские постановления, полицейские протоколы и, наконец, допивая стакан, кое-как с пятого на десятое прыгаете по статье на местную злобу, жадно ища, не продернули ли Ивана Ивановича или не вывели ли на чистую воду Петра Петровича. И только добежав до конца, вы подымаетесь и спешите к своему хомуту. Без газеты вам день не в день. Попробуй-ка опоздать номер, да вы оглушите по телефону контору редакции звонками, засыплете ее сердитыми укорами, угрозами. Газета вам так же нужна, необходима, неизбежна, как воздух, вода, свет, пища, любовь, счастье.

Почему же так?

Потому, что газета раздвигает перед вами поле зрения безгранично. Вы узнаете, что делают, как живут, думают, борются, страдают,

наслаждаются во всех концах земного шара. Жизнь проходит у вас так серо, так скучно, так плоско и пошло, и вдруг простой печатный бумажный лист среди серой обстановки, среди серых людей раздвигает, как в панораме, целый мир событий, фактов, явлений, мир яркий, разнообразный, блестящий всеми красками.

Мало того. Девяносто из ста читателей читают только газету; задавленные текущими делами, они не имеют ни времени, ни охоты уделить книге и одной минуты, и газета является для них единственным источником, откуда они черпают содержание для своего внутреннего мира. Газета для них — евангелие, энциклопедия, источник развлечения, мысли; она им освещает события, дает оценку фактам, общественным деятелям, людским поступкам.

Вы теперь видите, какую огромную роль играет газета для многочисленных лиц, которые стоят в обычном уровне провинциального торговца, купца, чиновника, служащего, приказчика и проч. Неудивительно, что проснувшись утром, он, прежде чем влезть в

свой обычный рабочий хомут, жадно пробега-ет газетный лист.

Но как же создается этот лист, который так же необходим, как воздух, как свет, о котором вы сейчас же вспоминаете, как только открываете утром глаза? Я думаю, это будет небезынтересно. Так пойдёмте же, читатель, и вместе проследим, как зарождается, вырастает и выходит в свет божий уже готовым этот тонкий бумажный лист, с нанесенной на нем черной краской, на котором не видно следа тех усилий, того труда, той траты нервов, здоровья, жизни, которые положены сюда и о которых вам и в голову не приходит думать.

II

Тесная, вся заставленная комната; по стенам, на потолке, на полу осела тяжелая серая металлическая пыль; в спертom, удушливom, пропитанном человеческим потом, дыханием и испарениями воздухе стоят странные, чиликающие, не перестающие звуки, точно какая-то угрюмая черная птица быстро и безостановочно делает железным клювом: чилик-чльк-чльк... чилик-чльк-чльк... И эти тя-

желые, глухие металлические звуки носятся в густой насыщенной атмосфере, в которой горят электрические лампочки. Они обливают синеватым, мигающим мелкой неуловимой дрожью светом, от которого становится больно глазам, тесно поставленные стойки в два ската; на этих скатах лежат ящики со множеством мелких клеточек, в которых распределен шрифт. Наборщики с наклоненными головами, с потными лицами, в одних жилетах или рубахах, от которых идет испарина, торопливо, не останавливаясь, то там, то здесь, не глядя, берут буквы и, мгновенно оцупывая вырез, который означает верх буквы, быстрым движением прижимают их одну за одной к железной верстатке, которую крепко зажимают в левой руке. В неподвижной густой атмосфере видны лишь мерные круговые взмахи рук, наклоненные головы, губы, шепчущие фразы рукописей, и серые землистые лица с ввалившимися щеками, влажно отсвечивающими на лампочках медленно стекающим потом. Мальчики, лохматые, в разорванных рубахах, сквозь которые выглядывает голое грязное тело, босиком, то и дело

бегают между кассами, принося из редакции корректуру. Наборщики берут у них продолговатые оттиски и с неудовольствием смотрят на многочисленные значки, испещряющие поля оттиска: по ним нужно править набор. Наборщик берет шило и начинает выковыривать неверно поставленные буквы. Это — кропотливая, мучительная работа; от напряжения, от усилий разобрать черные буквы шрифта рябит в глазах, ходят круги и предметы кажутся расплывающимися и неясными. Здесь рядом с свинцовым отравлением царит близорукость и надвигающаяся слепота. Среди наборщиков то и дело встречаются совсем еще молодые в очках.

Что еще убивает наборщиков, так это отвратительный почерк рукописей. Это не письмо, а какие-то иероглифы, точно пишущий нарочно старался возможно безобразнее, непонятнее писать, умышленно набрасывая на бумаге невероятные петли, росчерки, гвозди, заостренные углы, так же похожие на буквы, как свинья на коня. Вот стоит молодой, бледный наборщик и с напряжением, с отчаянием всматривается, придерживая все-

гда дрожаними руками кусок рукописи, болезненно напрягая и наморщивая лоб:

— Еп... ернст... во, оп... нстр... Черт тебя возьми!

Пот капает с его лица, в глазах рябит. Он превосходно набирает, безошибочно и необыкновенно быстро, но с такой рукописью стоит, минута уходит за минутой, у него пропадает драгоценное время, заработок, время отдыха. И он в отчаянии набирает чепуху, чтоб заполнить только строку, зная, что это нелепое слово выбросят в корректуре и ему придется сызнаова набирать, то есть сделать двойную работу.

Многие представители литературной профессии щеголяют безобразием своего почерка: дескать, со мной считайся, знаешь ведь, что я — крупной величины литературная сила. Небрежность почерка сочетается почему-то у этих господ с признаком таланта. Но они забывают, что этой своей нелепой привычкой жестоко и безвинно бьют своего меньшого брата, наборщика; дело в том, что набор фактически оплачивается сдельно, и всякое затруднение, всякая приостановка ра-

боты отнимает у наборщика и его семьи часть заработка, то есть хлеб. А это жестоко.

Время тянется. Та же духота, та же распаренная, расслабляющая атмосфера, тот же до боли яркий, мигающий свет электричества, та же усталость, тупая, ноющая; та же металлически-глухо чиликающая по всей наборной черная птица, те же наклоненные над «кассами» взмокшие, вспотевшие головы и шепчущие слова рукописей иссохшие губы. Скоро восемь часов. Наборщики торопливо доканчивают «уроки». С шести часов утра они беспрерывно, лишь с перерывами для обеда, стоят на ногах (работают стоя), и это ежедневно, круглый год, без праздников, без воскресений, без отдыха, без перерывов (за исключением нескольких дней в году). Неудивительно, что эти люди стоят за кассами с такими серыми, изнуренными лицами. Работают они непрерывно, спешно, точно их бичом гонят.

Газета неумолима: над ней так же нервно, напряженно работают люди, как около доменных, где клокочет расплавленная масса железной руды. Здесь некогда болеть, нельзя отлучиться, газета высасывает жизнь, здоровье,

силы, оставляя лишь скорлупу человека, но те свежие, только что отпечатанные газетные листы, которые вы небрежно пробегаете утром, не носят на себе ни малейших следов этой ужасной цены.

К девяти часам заканчивают уроки и расходятся. Оживившаяся кучка наборщиков торопливо выходит; свежий воздух, движение и уличный шум охватывают их, голова, после четырнадцатичасового стояния на ногах в спертой, душной атмосфере, идет кругом; хочется стряхнуть с себя мучительную усталость, расслабленность, хочется новых, свежих впечатлений, ибо завтра с шести опять на ногах, и ребята тянутся в трактир, — больше ведь некуда, — и пополаскивают и заливают свою долю.

III

В восемь часов расходятся усталые наборщики, но в наборной своим чередом идет работа, почиливает странная птица, только теперь значительно слабее и тише: на работе остаются только дежурные и ночные.

Уже давно явился метранпаж, ночной командир свинцового войска, которое плотны-

ми тяжелыми колоннами занимает большой стол. Метранпаж воистину ночной человек; он не знает дневного света, солнца, дневной жизни. Он уходит с работы в четыре часа, работает напролет всю ночь, день спит. Болеть этому человеку, иметь какие-нибудь экстренные дела не разрешается: заменить его очень трудно и большей частью невозможно.

Вот он подходит к своему послушному неподвижно лежащему черному войску и удивительно легко и страшно смело берет один за другим куски тяжелого набора, смачивает водой и быстро прикладывает их друг к другу в стальной раме. Достаточно малейшего неосторожного, неверного движения, набор моментально рассыплется — и все пропало, газета задержана; но командир, видимо, хорошо знает свои войска, и две черные страницы в раме быстро выравниваются, чтобы завтра идти в атаку на читателя.

Тяжелый черный набор первой и четвертой страниц, крепко стиснутый в стальной раме с выправленными окончательно ошибками, наконец спускают в машину. Некоторое время машинист возится, приправляя

вал, который должен ровно идти по набору, надавливая его везде одинаково, и, наконец, пускает привод. С грохотом выкатывается на секунду из машины заключенный в станок набор и с таким же оглушающим грохотом моментально откатывается назад, и это катанье тяжелого набора взад и вперед продолжается до тех пор, пока не отпечатают первой и четвертой страницы на всей заготовленной бумаге. Накладчик в продолжение нескольких часов лист за листом прикладывает к валу, который моментально оборачивает его на себя и прокатывает по бегущему под ним набору, маслянисто отсвечивающему черной краской; через мгновение лист с отпечатанной на одной его стороне первой и четвертой страницей выскакивает из-под вала, его подхватывают длинные деревянные пальцы и ловко и быстро, точно живые, кладут на доску, с секунду придерживая, чтобы бумага не разлеталась.

Так проходит час, два, три; набор выкатывается и вкатывается, черные валики, торопливо вращаясь, растирают краску, из-под вала выскакивают все новые и новые листы,

длинные пальцы, взмахивая в воздухе, бережно кладут их один за другим, все идет точно, размеренно, в одном и том же порядке, и человек, стоящий у машины и неустанно в продолжение нескольких часов подающий ей все новые и новые листы, кажется таким же придатком механизма, как валики, как длинные деревянные пальцы, приводы, зубчатки; оглушающий металлический грохот, в котором пропадает человеческий голос, стоит в печатной, и лишь от времени до времени, когда машинист останавливает для приправки машину, разом наступает тишина, наполненная особенным характерным шепотом грозно бегущих по холостым шкивам приводных ремней, тем шепотом, от которого «стены трясутся».

Близок рассвет, уже посерел краешек неба, но в типографии этого не видно: в густой душной атмосфере все так же равнодушно льется электрическое сияние. Ночные наборщицы, как сонные мухи, добирают ночные телеграммы, — с измученными испытанными лицами и ввалившимися глазами; метранпаж с таким же измученным, всегда бледным ли-

цом торопливо заканчивает верстку второй и третьей страниц, заключая их в стальную раму. Готово. Кряхтя и сгибаясь под огромной тяжестью, несут сверстанные страницы рабочие и спускают в машину. Снова начинается с грохотом вкатываться и ходить взад и вперед тяжелый набор, поблескивая черной маслянистой краской, снова мелькают в воздухе деревянные пальцы, укладывая теперь уже отпечатанные с обеих сторон листы, и в короткие промежутки остановок и наступающей тишины снова слышится грозный шепот трещащих в воздухе, бегущих приводных ремней, которые точно ждут, чтоб подошел неосторожный, и они подхватят, и втянут его, и чрез мгновение сбросят со шкива вместо живого создания измятый кусок кровавого мяса, но никто не обращает внимания на их предостерегающий шепот, все ходят, наклоняются, задевают их, чувствуя, как ветер бежит в лицо от неуловимо мелькающих широких ремней.

Уже светает. Газета родилась. Являются мальчишки и, моргая заспанными глазами, складывают газетные листы. Приходят газет-

ные разносчики, люди, в жару и холод, зимою и летом, в дождь и грязь проводящие жизнь на улице; они забирают газету, и эти белые листы с нанесенной на них краской, как птицы, разлетаются по городу.

Залетает одна из таких легких птиц и к вам, читатель, и вы утром после хорошего ночного сна или после веселой бессонницы в каком-нибудь «Палермо» с неприступными девицами, благодушно прихлебывая из стакана чай, пожинаете труды людей, положивших в этот тонкий лист бумаги за эту тяжелую ночь и предыдущий день столько тяжелого нездорового труда, отнявшего у них кусочек жизни. Вспомните же, хоть изредка, их добрым словом.

Когда бог создал Адама, он слепил сначала его тело из глины, и лежал первый человек бездыханный и недвижимый. И вдунул господь в него душу живую, и поднялся человек и стал он жемчужиной творения, лучшим венцом создания. Я рассказал вам, как рождается с муками и болью тело газеты, внешняя оболочка ее, теперь расскажу, как создается ее душа, дух, ее одухотворяющий, мысль, де-

лающая ее лучшим созданием человеческого творчества, то живое, что заставляет вас в этом бумажном листе плакать и смеяться, негодовать и приходить в умиление. Но это до следующего раза.

ОПЯТЬ ПОСЕТИТЕЛИ

Был туман. Холодная мгла садилась на грязную мостовую, на мокрую панель, на отсыревшие крыши, на проходившую публику. Дома, церкви, столбы — все тонуло в сырой молочной дымке, и, как на этот город мгла, ложилось на сердце тоскливое чувство.

Это было все то же беспокойное чувство газетчика: что это?.. где же правда?.. когда это все кончится?.. в какой сложный клубок все свивается... не теряю ли я чувство меры?.. не наношу ли горькой, непоправимой несправедливой обиды?.. зачем биться с людьми, которых часто даже лично не знаешь, которые тебе лично никогда никакого зла не сделали?.. прав ли я?..

И, как дома, церкви, столбы покрывала мгла, так эти недоумения и сомнения покрыло одно слово, один порыв: бороться, бороться во имя тех, кто молча с каплями пота на челе несет на своем хребте всю тягость жизни и общественных неурядиц. И пусть мои писания только капли в бушующем океане силы и несправедливостей, пусть, но ведь и

капли прободают камень.

Я стал напоять перо... не ядом, не беспокойтесь, читатель, — чернилами, как раздался звонок.

Широко растворились двери. Уверенно, с достоинством, не так, как носильщик с железной дороги, вошла толпа джентльменов. Тонкое сукно сюртуков, белизна воротничков и манишек, выхоленные лица — все свидетельствовало, что это люди белой кости.

Я вгляделся. Ба! Знакомые все лица. Пакостник, знаменитый председатель ученого общества, китаец Эр Ли, Добрый Горбун, Юбиляр, человек, построивший вавилонскую башню и многие другие.

Первый начал Пакостник, холодно, саркастически, с оттенком презрения, но по тому, что мускулы его лица подрагивали, я заключил, что он волнуется.

— Послушайте, — начал он, — что ж это? что же это вы делаете? ведь это травля, форменная травля. Вы мне мешаете работать как общественному деятелю, мне приходится направо, налево бороться с черными бандами, а тут еще печать создает затруднения. Наконец

вы меня бьете как человека, как частного человека. Зачем это вам понадобилось? разве таково назначение печати?

Я опустил голову: не прав ли он? Но сейчас же я вспомнил все претерпенное печатью.

— Милостивый государь, я буду откровенен. Да, достоинство, доброе имя человека — прежде всего, это — величайшая драгоценность в жизни. Никто не имеет права посягать на них. С другой стороны, печать обязана, да, обязана, обсуждать беспристрастно, спокойно и корректно общественные дела, не касаясь личностей...

— А вот вы этого не делаете!

— Позвольте же, не заскакивайте же, дайте же мне высказаться, ведь я же вас не перебивал... Так я сказал, что печать обязана беспристрастно, спокойно оценивать общественные дела. Но ведь это же при условии, что печати дадут возможность спокойного обсуждения, спокойной оценки. Ну, а если ее начинают гнать, если ее начинают преследовать, душить, затыкать ей глотку, пакостить ей, если на нее начинают клеветать, инсинуировать, доносить, что же тогда? Тогда остается одно —

борьба, борьба не на живот, а на смерть, остается бить клеветников, инсинуаторов, бить, куда ни попало, чем ни попало, как ни попало. Ведь подумайте, чего вы хотите. Ведь вы хотите задавить, задавить, задушить общественную совесть. Что же остается делать? Остается, схвативши вас за горло, свалившись в жестокой борьбе вместе с вами на землю, из последних сил давить вас, отстаивая единственно что есть у общества: право совести, право общественного мнения. Тут уж не до бархатных перчаток, тут уж приходится вас стиснуть, да так, чтоб глаза и язык вылезли у вас. Откажитесь от вашей мелочной мстительности, злобы, злопамятности, докажите, что слово «напакостить» вырвалось у вас случайно, в раздражении, как может вырваться у каждого человека, и этой безобразной борьбы не будет.

Мой собеседник опустил голову. Обдумывал ли он новый способ напакостить, или почувствовал правду моих слов — не знаю.

Необыкновенно развязно начал Председатель. Как и подобает просвещенному джентльмену, он начал прямо ругаться:

— Я вас терпеть не могу, я вас презираю, вас, газетчиков. Нет более позорного, более презираемого положения, как положение представителя печати. Что такое стрикулист, построчный пятак, газетчик?! Тьфу, как я вас презираю! Что может быть на свете позорнее печати? О, я всегда буду гнать в шею ее представителей. Если бы мне пришлось случайно очутиться бок о бок с газетчиком, ну, скажем, в какой-нибудь комиссии, в каком-нибудь деле, я бы ушел оттуда, не дожидаясь, пока меня выгнали бы. Будь вы прокляты!..

Ну, что такому господину отвечать?

— Послушайте, если вы еще будете ругаться, я вам плюну. Ей-богу!

Я было хотел этим ограничиться, но потом прибавил:

— Самые циничные люди не находят возможным разгуливать по улицам в одном белье, а вот вы разгуливаете, преисполненный шляхетской надменности. Высказываться о печати так, как вы высказываетесь только потому, что вас ударили по карману, значит щеголять в одних белых панталонах. Вас остается только бить — печатью, конечно. И

не надейтесь на то, что провинциальная печать до известной степени связана, ваша великолепное имя будет фигурировать в большой прессе. Будьте покойны.

Захлебываясь, подскочил восточный человек, китаец Эр Ли.

— Позвольте, что же это такое, разве же возможно: мерин... Да хотя бы просто мерин, а то еще сивый мерин. (Просительно.) Ну зачем вы добавляли сивый. Ведь это обидно.

— Ну мерин, ну сивый, не полиняли же. Чего вы волнуетесь? А потом зарубите себе на носу: назвался груздем, полезай в кузов; сделал глупость, собрался гнать представителей печати по четыре раза в неделю, так и полезай в шкуру мерина.

Подходит Добрый Горбун. Улыбается.

— Ну зачем вы меня?

Улыбается.

— Ну там насчет... Сандвичевых островов, Огненной земли, Южной Америки.

— А вы зачем там справки насчет отдыха приходивших к вам приказчиков забираете?

Улыбается.

— Как же иначе. Надо же узнать, как в дру-

гих местах отдыхают.

— Больно долго узнаете. Котузе — по заслуге. Ящик вы себе долгий построили; туда и складывайте все, что требуется оттянуть. А это наказуется.

Улыбается.

— Времени-то много, еще годика два можно тянуть.

— Ну, батюшка, через два года от вас останутся только рожки да ножки. На другой же день вас забудут.

Улыбаясь, отходит.

Встает Юбиляр, из мандаринов, корректный, деликатный.

— Вот вы насчет юбилея тогда... Скажите, я же при чем? Ведь я же никого не неволил, я даже не знал, что мне готовят подарок. За что же вы меня?

— Вы являетесь искупителем общего греха. Согласитесь, что всякие подношения подарков, стоящих денег, служащими начальнику в высшей степени ненормальное, уродливое явление. И этот уродливый обычай безусловно нужно изгнать. Как же это сделать? А вот лучшим средством является карикатура. Она

жжет, она доставляет боль, но она и заставляет взглянуть правде в лицо. Смею уверить, что я имел в виду не лично вас (служащие отзываются о вас как о человеке безусловно деликатном и корректном по отношению к ним, что выгодно отличает вас от других мандаринов), а самый принцип, этот уродливый обычай, который необходимо вытравить. Повторяю, вы являетесь искупителем общего греха. Ну, а насчет... родственников, ведь я был прав?

[САРКАЗМ — МОГУЧЕЕ ОРУЖИЕ]

Сарказм — могучее оружие. Но, как всякое оружие, оно слепо. И вопрос, против кого и против чего направляет его владеющий им, разом определяет физиономию владельца. Щедрин поражал сарказмом все, что было темного, пошлого, позорного, беснующегося мракобесием в русском обществе. Буренин в большинстве случаев обдает зловонной слюной все, что есть талантливое, благородное, чистого, светлого, все, что так или иначе освещает трудный человеческий путь. Скажи мне, как ты пользуешься смехом, и я скажу, кто ты.

Но, как есть человеческие лица, на которых ничего не написано и ничего нельзя прочитать: ни злобы, ни доброты, ни подлости, ни благородства, ни жестокости, ни жалости — или можно читать все это в странном конгломерате, — так часто нельзя разобрать, какие внутренние мотивы, мотивы ли пошлости, или мотивы служения общественным

интересам заставляют людей осмеивать те или иные факты, те или иные общественные явления.

Нельзя этого разобрать, когда разворачиваешь «Русское слово».

Эта почтенная газета — не уличный листок. А раз так, общество вправе предъявлять к ней известные требования. Читатель постоянно натывается там на самые странные издевательства. Гг. Горький, Андреев, Скиталец, Найденов постоянно фигурируют в карикатурах.

Сам по себе этот факт еще ничего не говорит. Печатный орган имеет право (нравственное, конечно) пользоваться, для того чтобы облекать в осязаемые формы свои мысли, не только словом, но и рисунком. Имеет право смеха. Но весь-то вопрос, над чем смеяться и как смеяться.

Вот не угодно ли взглянуть, над чем смеется «Русское слово». Во весь карьер несется лошадь с надписью «Дети Ванюшина». Сорвавшийся седок с оборванными в руках поводьями носит надпись «Неудачник», а внизу пояснительная подпись — «г. Найденов».

Ясно, газета издевается над автором за то, что он написал одну только драму: дескать, написал — и все, больше не может. Позвольте, что же тут достойного осмеяния? Что тут смешного? Допустим даже, что г. Найденов больше ничего не напишет. Ну так что ж? Ведь он уже дал художественную, талантливую вещь. Скажите, пожалуйста, что тут дурного, что тут скверного, достойного бичевания, что у человека не хватило бы сил на дальнейшее творчество. Ведь человек сослужил уже, и сослужил большую службу обществу, за что же его травить?

Но в данном случае даже этого предположения сделать нельзя: прошел всего год с появления «Детей Ванюшина», и г. Найденов был бы просто драмодел, если бы сыпал из себя драмы, как из мешка картофель. Больше того: в будущем сезоне на сцене Художественного театра ставится новая пьеса г. Найденова.

Так чем же все-таки мотивируется это издевательство? А ничем. Просто грегочут люди, и только. Это уже непорядочно.

«Русское слово» всячески травит г. Андре-

ева. Можно с г. Андреевым не соглашаться, можно возражать против способов изображения им жизненных явлений, правдивости этих изображений, больше того, можно считать его даже вредным писателем, можно бороться с ним, бороться не только словом, но и смехом, карикатурой, чтобы подействовать сильно и непосредственно на чувство читателя, но все это допустимо при условии добросовестного отношения к писателю, при условии, что мотивами не служит мелкое чувство мести личных счетов, при условии отсутствия сомнительных способов борьбы.

Что же мы видим в газете? Брань, голую, скверную, циничную брань, а в карикатуре ту же циничную брань в виде изображения Буренина, издевающегося над писателем. Но ведь это же стыдно. Кому же подадут руку! Буренину. Разве имя этого нововременца не налагает позора на всякого, кто произносит его как имя единомышленника.

И почему же «Русское слово» издевается и травит во всяком случае наиболее талантливую, наиболее свежую, содержательную группу писателей. Да, тут не борьба с идеями, с

представителями идей, с известным течением мысли, здесь — мелкая плоская травля.

Разве мало кругом пошлости, явлений действительно просящихся в карикатуру. «Русское слово» равнодушно проходит мимо и издевается и грегочет над тем, что требует анализа и критики, а не издевательств.

Почему?

Да потому, что у этого органа нет общего, руководящего, объединяющего начала, потому, что сегодня они поклоняются богу, завтра мамоне, сегодня дельная статья, завтра — галерство, шутовство, клоунство, уличная брань.

[СТРАННЫЕ, ПОДЧАС ТРУДНО ОБЪЯСНИМЫЕ ВЕЩИ...]

Странные, подчас трудно объяснимые вещи встречаются в оценке одного и того же явления различными людьми.

На такое различное, почти прямо противоположное отношение к одному и тому же факту мы натываемся в оценке пьес М. Горького москвичами и петербуржцами.

«Мещане» в первый раз были поставлены в Петербурге, прошли прекрасно, имели успех, в Москве же были встречены холодно.

«На дне», пьеса, написанная неизмеримо художественнее и имевшая в Москве колоссальный успех, в Петербурге встречается чрезвычайно холодно, по крайней мере печально. Почему это?

Сказать, что у москвичей и петербуржцев различное вообще понимание, вкусы, взгляды, нельзя же, и те и другие происходят от Адамы и Евы. Очевидно, тут дело не в существовании вопроса, а в чем-то привходящем, слу-

чайном, внешнем.

Вы присмотритесь к тому, что говорится о «На дне» в петербургской печати. Торопливо, наперерыв, почти захлебываясь, журналисты стараются подчеркнуть, преувеличенно выставить, раздуть все, что имеется недосказанного, слабого в пьесе, и старательно замалчивают, обходят всю ту огромную ценность, значение, которое имеет пьеса в целом. В этом удивительном старании дело доходит до курьезов.

Почему, говорит один, у М. Горького в «ночлежке» выведен татарин, а не армянин, не еврей, не чуваш, не поляк и еще кто там. Это потому, продолжает строгий критик, что в пьесе царит случайность, что действующие лица не спаяны органически, потому что они сошлись случайно в ночлежке, что нет действия.

Всякий раз, как пытаются в той или иной сфере искусства дать новую форму или перестают идолопоклоннически придерживаться старых форм, поднимаются крики. Я не хочу сказать, что М. Горький открыл новые пути в драматическом искусстве, но что он вместе с

Чеховым осмелился отказаться от старой формулы всякого драматического произведения — завязка, развитие действия, достижение кульминационного пункта, развязка — это да. И весь вопрос, мне кажется, вовсе не в том, большой или малый грех совершил Горький, отказавшись от традиционного приема, а в том, жизнь-то в ее неприкрашенной и грозной правде развернул ли перед нами Горький, или нет.

— Да, развернул, — говорят москвичи.

— Нет, — говорят петербуржцы.

В «ночлежке» лица сошлись совершенно случайно. Но в жизни-то разве постоянно они сталкиваются не случайно? Действующие лица не спаяны органически, они связаны, так сказать, только местом. Но ведь это только в старых романах трое влюбятся в одну девушку, и эта африканская страсть на всем протяжении является органической спайкой. Думаю, громадное достоинство художника дать жизнь в ее слепой, хаотичной случайности, и это представляет громадные трудности.

— Слишком уж умны босяки, — продолжают критики, — это собрание каких-то фило-

софов. В этом замечании есть доля правды; это — одна из слабых сторон пьесы. Но весь-то вопрос не в том, есть ли слабые места, или нет, а в том, выкупаются ли они всем целым пьесы, или нет, остаются ли только они в голове, когда зритель уходит из театра, или они тонут в громадной, захватывающей и страшной общей картине человеческого горя и муки, развернутых автором.

Что бы там ни говорили петербургские критики, но впечатление, которое уносят из театра, неизгладимо, и это потому, что все дефекты, все недочеты пьесы тонут в изумительно выпуклых, ярких, живых сценах и образах.

Несомненно последнее произведение г. Горького у петербургской публики встретит такой же прием, как у московской, и это лишний раз подчеркнет, что пером петербургских газетчиков водила не искренность оценки, а «особые соображения».

[ИЗ ВСЕХ ЗОЛ И НЕСЧАСТИЙ...]

Из всех зол и несчастий, которые приносит современная культура, наша изломанная, молью изъеденная культура, самое большое зло и несчастье — потеря непосредственности. Мы ни к чему не умеем подойти, ничего не умеем сделать с простым, нетронутым, непосредственным чувством.

Мы не умеем любить непосредственно и сильно, не оглядываясь, не рассчитывая, просто потому, что любовь — счастье; мы не умеем наслаждаться солнцем, рекой, озаренной луной, лесом, дремлющим в весеннем тумане, морем, косматым и белеющим под мечущейся над ним бурей, красотой людских отношений; мы не умеем кинуться с головой в борьбу, не умеем презирать, жалеть, ненавидеть, веселиться, смеяться. Ко всему подходим с кислой, скептической улыбкой, корректные, сдержанные, полулюбим, полунаслаждаемся, полужалеем, полуненавидим и никогда не смеемся, а только улыбаемся.

Нужно заметить, что интеллект и непосредственность вовсе не исключают друг друга и вполне гармонично уживаются в здоровом человеке.

Так как большинство из нас, составляющих так называемое общество, изъедено молью, мы привыкаем к этой изъеденности, перестаем замечать ее, останавливаться на ней. И надо натолкнуться на что-нибудь экстраординарное, особенное, из ряда вон выходящее, чтобы вдруг почувствовать эту изъеденность, беспокойство от отсутствия здорового, свежего, нетронутого, непосредственного чувства.

Вот такое беспокойство, странное и тревожное, такую растерянность испытывает большинство публики на передвижной выставке перед картиной Репина «Какой простор!»

— Да что же это такое!.. Ведь это бессмыслица: забрались в воду и необыкновенно довольны.

— И заметьте, время года холодное, зима или конец зимы, — у девушки муфта. Можете же себе представить, какой отчаянный насморк схватят эти господа.

— Что насморк — тиф!

— Позвольте узнать, ведь тут нечто сокровенное таится, несомненно нечто символическое... СИМВОЛ...

— В каком же смысле?

— Никакого символа нет, а если и есть, так самый препоганый: посмотрите только на эту отъевшуюся физиономию студента в крылатке, несомненно бело— или синеподкладочник.

— Наконец совершенно не разберешь, мажурку они танцуют или еще какой-нибудь танец.

— Да и выполнение... знаете, того... ведь Репин... Несомненно всякое явление необходимо осмысливать, но, боже мой, позвольте же нам, простым смертным, просто подойти к картине, взглянуть на нее просто и непосредственно, предоставив специалистам, критикам доискиваться, символ ли это, или неудачная потуга на символизм, или еще что там. Позвольте нам взглянуть на нее, как мы смотрим на раскинувшиеся поля и луга, на поблескивающую реку вдали, на хмурый, подосенними облаками, лес, на милого ребенка,

на прелестную улыбающуюся девушку.

Не знаю, связан ли с картиной символизм, или нет, знаю только, что море злое, черное, жестокое, холодное, не знающее ни милости, ни пощады, ни размышлений, ни колебаний, мертвое в вечном движении, тяжело вздымается в безжизненном плеске и шуме.

От века оно все то же, давящее своей роковой стихийностью. Уж не знаю, хорошо оно технически написано или нехорошо, одно только знаю, что эта мертвая, роковая, вне человека стоящая, поражающая своей колоссальной стихийностью сила мечется перед вами тяжело и грозно, и мертвая безжизненность ее титанически разрастается, по мере того как вы смотрите на картину.

Вы смотрите, вы не видите холодной, безжизненной глубины, но вы догадываетесь о ней по этой черной, злобно взрытой поверхности, местами белеющей седыми космами, и напрасно глаз ищет, — не на чем остановиться, все та же холодная, мятущаяся сила, и невольно сжимается душа от одиночества, заброшенности и микроскопичности перед этим мятущимся хаосом. И вдруг глаза ваши

остановились, и лицо дрогнуло, черты оживились, и улыбка тронула углы губ. Что такое? Вы увидели две фигуры?

Молодость, молодость увидели, свежую, нетронутую, смелую, живую, молодую молодость. Вот отчего ваши мертвые черты тронула хорошая живая улыбка.

Молодость!

Она придерживает одной рукой шляпу, которую рвет злой ветер, и милое полунаклонное лицо озарено ярким милым смехом; он крепко держит ее руку, удерживая от сбивающих с ног волн и ветра. Какой простор!

Хороша молодость, в николаевке, в бобрах, с лицом будущего земского начальника или железнодорожного поверенного по «увечным делам»!

Пусть, пусть в будущем это — земский начальник, или железнодорожный адвокат, или модный доктор, любимец скучающих барынь, пусть она — это будущая и верная супруга и нежно любящая мать только, пускай, но сейчас-то это молодость, искрящаяся, светлая, молодая молодость, глядя на которую и наши с вами мертвые черты дрогнули. Что

николаевка, что бобры! Молодость и в рогожку оденьте — она будет молодостью.

Но почему же молодость так трогает?

Не только своими внешними чертами, своей привлекательностью, своей живостью, а тем, что молодость — эмблема того, чего у нас с вами — увы! — давно нет: смелостью перед мертвым беспощадным хаосом жизни. Мы перед ним сжимаемся, мы не пойдем ему навстречу, потому... потому что можем схватить насморк, а они вот — пошли, а уже лепо там или нелепо, это — другой вопрос.

И долго стоишь перед картиной, и долго смотришь на это необыкновенно далеко уходящее, грозно чернеющее море, и слышишь, как оно шумит мертво, холодно, могуче.

БРАТЯ-ГАЗЕТЧИКИ

Актер, профессор, адвокат имеют перед собой живую, глядящую на них, слушающую их публику. Каждым словом, каждым повышением голоса, каждым жестом и движением оратор непосредственно воздействует на предстоящих, — видит, как бледнеют лица, как разгораются глаза, как навертываются слезы, сжимаются кулаки, и, подхватываемый общим настроением, взмытый широкой волной внимания, сочувствия, вражды или раздражения, оратор чувствует странную, особенную связь с этим тысячеголовым, беспокойным, в одно и то же время таким простым, ординарным и загадочным существом, именуемым публикой. И чувствование этой связи почему-то доставляет высокие моменты удовлетворения.

Не то — писатель. Он — одинок.

Ему не смотрят в лицо тысячи глаз. Те, к кому обращено его слово, далеки от него, они разбросаны, они немые, их лица скрыты. Кто они? Как бьются их сердца? Что их волнует? Кому они кланяются? Кого ненавидят? Чего

ищут?

Очень медленно реагирует читатель. Очень медленно приподымается пред писателем легкий флер, задерживающий тех, с кем он беседует. Зато у писателя есть крупные преимущества: его воздействие на читателя длительнее, глубже, перед ним аудитория обширнее, он гибче, разностороннее, разнообразнее в своих воздействиях, связь его с читателем прочнее. Самые разнообразные вопросы жизни тянутся к нему из читательского мира, требуют обсуждения. И эта живая связь с людьми, которых не знаешь, с которыми в большинстве никогда не встретишься, является оплатой за все шипы и тернии, которые впиваются во всю писательскую работу, жизнь, деятельность.

Я сегодня позволю себе поделиться рядом вопросов, которые ставит, и фактов, которые сообщает читатель. Ничего особенного, ничего, предупреждаю, исключительного по интересу. Это все та же неправда и неустройство жизни, все то же недоумение перед нелепостью жизни, это все тот же крик боли и страдания. Все старое. Но ведь и вся наша дей-

ствительность — это огромное колесо, слепо перемалывающее одни и те же, все старые зерна.

Не странно ли: люди, все время проповедующие взаимную помощь, организацию, твердящие, что легко ломающийся в одиночку прут не переломить в пучке, что единение — сила, эти люди бредут в жизни, как слепые, заблудившиеся в темном лесу дети, как попало, не подавая друг другу руки. Едва ли вы встретите более кричащих о единении и наиболее разъединенных людей, чем литературные работники.

Все профессионалисты соединяются. Приказчики, врачи, ремесленники, инженеры, учителя. Только литературный работник одинок. Только один он не знает силы взаимной поддержки.

По поводу одной из моих «заметок» мне пишет один из литературных работников: «Тяжесть положения газетного чернорабочего, по крайней мере в провинции, усиливается еще тем, что он стоит, так сказать, вне жизни. Ему некуда приткнуться, некуда голову склонить. Везде он — третий элемент, сторон-

ний зритель, вечно он один. Представители разного рода профессий организуются в кружки, в корпорации, имеют клубы и т. д. У газетчиков — ничего подобного. В их судьбе роковое есть что-то». «Меня давно, — говорит далее мой корреспондент, — занимает вопрос, как бы газетчикам хоть немножко сплотиться. Ведь, помимо всего, есть масса профессиональных вопросов, разрешить которые буквально негде».

Далее автор письма сообщает, что в нынешнем году предпринял в этом направлении попытку. Он разослал в редакции поволжских газет письма, что-де следовало бы как-нибудь столкнуться сотрудникам газет, чтоб положить начало объединения на почве профессиональных интересов. Увы, только два издания из десяти прислали сочувственный ответ, остальные не удостоили ответом.

Помимо чисто внешних условий, а затем специальных особенностей литературной профессии, мешающих объединению, представители последней сами кладут палки в колеса своей инертностью, неподвижностью, антиобщественностью, равнодушием к судь-

бе собратьев.

Между тем профессиональное объединение не только имеет значение в смысле улучшения судьбы каждого пишущего, оно будет иметь и общественное значение, так как сделает каждого литературного работника более независимым.

Возьмите любой провинциальный город с двумя газетами. Газеты приблизительно одинаковы и по направлению, и по содержанию, и по дефектам. Трудно себе представить, какая вражда между ними существует. Дня не пройдет, чтоб друг друга не уличили во лжи, в клевете, в извращении фактов, во всех противоестественных преступлениях. А так как оба противника одинаково приписывают друг другу самые невероятные вещи, то нужно предположить, что вся русская пресса состоит из беглых с Сахалина. Вернее же будет предположить, что это — люди как люди, газеты как газеты, только отношения их окрашены взаимным соперничеством.

Между тем это соперничество накладывает печать глубокой розни и на литературных работников, отдаляя их друг от друга.

Для розни, для отдаления, для размежевания может быть только один повод — принципиальное, принципиально непримиримое разногласие. Нельзя идти рядом, стыдно, позорно подать руку людям, которые торгуют совестью, честью, которые продают, как картофель на базаре, все, что дорого обществу. Но когда люди смотрят косо друг на друга только потому, что органы, в которых они работают, конкурируют, это уже — слепота, узость, ограниченность.

Прежде всего для литературного работника — независимость, независимость же органически связана со сплоченностью. Бессилие одиночества нередко заставляет идти на компромиссы.

Все это так, но как же практически осуществить единение, имея в виду разные специальные трудности и, в частности, кочевой образ жизни литературного работника? Это вопрос, так сказать, техники. Прежде всего — сознание необходимости такой сплоченности. Думаю, что решению вопроса будет положено начало в провинции — там нет такой глубокой, принципиальной по существу диф-

ференциации между органами печати. С другой стороны, инициаторами должны выступить представителя репортажа и вообще незаметной для постороннего глаза газетной работы.

Это потому, что так скорее всего наладится дело, что эта часть газетных тружеников наименее обеспечена, наихудше оплачивается, наиболее страдает от одиночества и розни. Попытку автора упоминаемого письма надо приветствовать и пожелать, чтобы она была не последней — под лежащий камень ведь и вода не течет.

[УМЕР ДОКТОР ФИЛОСОФИИ ФИЛИППОВ]

Умер доктор философии Филиппов. Покойный разрабатывал последнее время грандиозный план уничтожения войн. По его словам, он был близок к открытию способа производить опустошающие взрывы на каком угодно расстоянии. Из какой-нибудь Чухломы можно было бы поднять на воздух Нью-Йорк, Рио-Жанейро, Капштадт, Пекин.

Если бы это осуществилось, в руках человечества очутилось бы страшное орудие самоистребления. Не надо бы тогда колоссальных армий, крепостей, артиллерии, не надо бы вторгаться в неприятельскую страну. Опустошение вносилось бы в самое сердце врага издали. Шрапнель, гранаты, разрывающиеся на тысячи кусков, расстилающиеся ветром смерти пули, пронизывающие по восьми человек в глубину рядов, — все это померкло бы перед новым колоссальным стихийным орудием истребления и разрушения. Люди ужаснулись бы, люди отступили бы и... войне ко-

нец.

Глубокое заблуждение. Меня в данном случае интересует не техническая осуществимость этого плана. Вернее всего, что никаких взрывов на расстоянии доктор философии Филиппов не изобрел бы. Но не в этом дело. Пусть он не изобрел бы, но он бросил известную идею, которая, быть может, в конце концов и будет кем-нибудь осуществлена, — невозможного тут ничего нет. Пусть будет найдено страшное средство подымать на воздух города на расстоянии. Что же, конец войне? Нет.

Великое заблуждение думать, что такие явления, как война, могут быть уничтожены механическим, так сказать, путем. Как бы гениально ни было изобретение средства разрушения, в противовес ему всегда будут придуманы не менее гениальные средства самозащиты и самосохранения. Природа слишком сложна и богата, гений человеческий слишком гибок и разносторонен, чтобы средства борьбы и защиты держать всегда в равновесии.

Появился порох, и вот деревянные флоты

доброе старое время стали пробиваться ядрами, как бумага, и корабли стали гореть от бросаемых гранат, как свечи. Появились железные суда. Тогда артиллерия стала чудовищно расти, но и бока военных кораблей стали чудовищно пухнуть, одеваясь глыбами крепчайшей стали. Но артиллерия, не уставая ни на секунду, не приостанавливаясь, продолжала разрастаться, переросла средства защиты и, легко и смеясь, пробуравливая стальные глыбы, стала пускать ко дну морские чудовища. Тогда по морю вдруг рассыпались птицы-пароходики, и гигантские орудия оказались бессильными: они не успевали их расстреливать. Однако артиллерия сделала еще усилие, — появились скорострельные орудия, которые создали между собой и неприятелем движущуюся непрерывную среду снарядов, — птицы-миноносцы уничтожались без остатка, сколько бы их ни было. Тогда они скрылись под водой, и ныне создается мировой подводный флот. Артиллерия стала бессильна.

Не совсем. С известной высоты, с воздушного шара видны в глубине ходящие подвод-

ные лодки, — есть возможность их открывать и бить. И так бесконечно. Цепляясь одно за другое, тянутся без перерыва средства нападения и защиты, и не видно и нет этому конца.

Почему же нужно думать, что изобретение Филиппова, раз оно осуществилось, будет последним словом человеческого ума. Нет, не механическим путем будут уничтожены войны. Только рост сознания в народных массах положит им предел. Открытие одной школы, выпуск хорошей книжки, организация библиотеки, всякого просветительного учреждения — в тысячу крат ценнее в смысле приближения к уничтожению войн, чем самое гениальное изобретение наиболее разрушительного средства борьбы, которое, в силу самой огромности производимых им разрушений, якобы ведет к уничтожению этой борьбы.

И вместо того чтобы работать над изобретением средств гибели и разрушения, гораздо больше чести трудиться над распространением понимания и сознания в темных массах. Над изобретением средств разрушения и без того трудятся и будут трудиться.

ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ

Мне было лет одиннадцать — двенадцать. Я сидел под столом в кабинете отца и в крайнем возбуждении стрелял из пушек карандашами по густым рядам солдат, которых я в изобилии делал из катушек, утаскивая у матери и делая на каждой три надреза, — уши, рот и нос.

После каждого выстрела, когда люди валились, я забывал, что это — катушки, я торопливо приговаривал с пылающими щеками:

*Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел...*

В возбуждении я приподнялся и так стукнулся головой о стол, что все зашаталось и какая-то книга, раскрывшись, упала на пол. Я испуганно посидел, дожидаясь, не разлил ли чернил, но не капало, лег животом на пол и стал читать с середины белевшей на полу страницы.

«На французской стороне забелелся клубочек дыма, и все ближе и ближе, быстрее и быстрее летело ядро и ударилось возле палатки. Земля ахнула от страшного удара. Началось сражение».

Это было сражение при Шенграбене из «Войны и мира». Я не знал автора. Как все дети, я не интересовался авторами и классифицировал книги только по их занимательности.

С тяжелой головой, с онемевшими членами, все так же лежа на полу, — я глотал страницу за страницей. Потом сел, долго сидел, глядя на разбросанные войска; это не были войска, а просто валялись катушки с надрезами. Вся красивость массовых построений пропала, как стершаяся позолота. Потухло:

*Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Картель визжала...*

Да и не могло не потухнуть, не могло не потухнуть среди живых людей, одетых в солдатское сукно, которые вместе с Багратионом шли, спускаясь, а на них, подымаясь по изво-

локу, шли другие люди, одетые в синее сукно. Потом пришла ночь и шла с этими людьми, которые среди лафетов, повозок, фыркающих лошадей месили вязкую, тяжелую грязь, — и я шел с ними.

Я собрал в сумку катушки, спрятал и потихоньку пробрался в кухню, — нам запрещали туда ходить.

Нефед, наш денщик, служивший за кухарку, высокий рыжий казак, проворный и услужливый, жарил котлеты. Я постоял. Хотелось спросить о чем-то важном, только я не умел.

— Нефед, котлеты жарить?

— Котлеты. Ах, штов тебе!.. Как раз сожжет, — и подхватил сковороду.

— А ты был на войне?

— Был, в польское восстание. Гляди, как бы мамаша не застукала, осерчает.

С этих пор для меня началась новая полоса. Так вот что... Так это все Нефед? И с Багратионом при Шенграбене шел Нефед. И на площади у нас, когда я смотрю в окно, маршируют на параде казаки, — тоже Нефед.

Какое уж тут:

*Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел...*

когда это просто Нефед, тот самый, который жарит котлеты и так заразительно хохочет и выделяет козла, когда бежит через двор в ледник.

И не то чтоб я об этом думал мыслями, — нет, я скорее думал об этом чувствованиями, почти ощущениями.

«Война и мир» сделалась моей настольной книгой. Как только уходил отец, я уютно забирался с ногами на диван и в сотый раз начинал читать сражение при Шенграбене. Я его знал наизусть и до того сжился с действующими лицами, что разговаривал с ними. Кто-то, огромный, разбросав мои катушки, повелительный и незнаемый, — я знал, что книга называется «Война и мир», но не удосужился посмотреть, кто автор, — открыл двери, и я увидел живую жизнь, живых, настоящих людей.

Моя жизнь по-прежнему шла; по-прежнему я упивался Майн-Ридом, Купером, Эмаром, описаниями походов, битв и путешествий, но книга, упавшая тогда со стола, расширялась,

занимая все больше и больше места в моей душе.

Я играл в героев Майн-Рида, Купера, в путешествия, но никогда не играл в героев Толстого, ибо всякая игра есть подражание жизни, а когда я раскрывал «Войну и мир», я просто жил, и не было надобности в подражании жизни, — я просто жил, даже не расценивая этого, как книгу.

Как-то подошла мать, заглянула и мягко взяла книгу:

— Это тебе еще рано читать.

Но я разыскал книгу и читал, когда никого не было в кабинете. Читал отдельными кусками, как попало, то в начале, то в конце, то в середине, и приговаривал:

— Так вот они какие!

Это про взрослых.

Потом мне подарили «Детство и отрочество», и я с изумлением увидел, что там все рассказывается про меня, до того про меня, что я бросился к матери и закричал:

— Мама, да ведь это про меня!

Последнее неумиряющее впечатление детства, связанное с Толстым, это — смерть дере-

ва в «Трех смертях».

Ни одна смерть, даже в действительности, не оставляла такого невытравимого впечатления, как смерть дерева среди радостно шепчущихся живых деревьев.

И опять, как среди людей, Толстой приподнял завесу над природой, и я с изумлением увидел, даже не увидел, а почувствовал, что живут деревья, трава, живет лес, поля, живут и умирают, как и люди. И это неизгладимое впечатление разлитой, бьющейся кругом жизни я несу через всю свою жизнь.

Ни одна книга, ни одна человеческая встреча не оставляли такого следа, не наполняли так до краев души, как эти первые страницы жизни, которые я вычитал у Толстого.

Ушло далекое детство, и Толстой встал перед сознательной мыслью колоссальным художником и настойчивым учителем. И что бы я ни читал, когда бы о нем ни думал, каким бы его произведением ни восхищался, — одна мысль, как неотступная тень, следовала за мною: как этот гигант, этот монолит по своей невстречаемой цельности, как мог он носить в себе вечное раздвоение?

Тонкий и чуткий ценитель произведений искусства и человеческой мысли, сам величайший из творцов, он отрицал создание человеческого вдохновения, отрицал свои собственные гениальные произведения.

Сурово отрицая то, что дает культура, он в то же время пользовался ее плодами. Он общался с людьми способами, дарованными культурой, он воздействовал на них механизмом, созданным тысячелетиями человеческой изобретательности.

Толстой со слезами читал телеграммы об армянской резне, жадно глотал телеграммы из голодных районов, — те телеграммы, которые рассылало «никому не нужное» агентство, над которым он смеялся.

Этими противоречиями, мелкими и крупными, полон весь его обиход. Бессмысленно было бы заподозрить тут неискренность и неправду. И жило это противоречие в паразитично цельном человеке.

Я качался в душном вагоне третьего класса. Против, опираясь черными, как земля, руками о колесо, сидел бородатый, с проседью и нависшими бровями, хлебороб.

В окнах летела степь, пустая и сожженная, а по бокам редко жили люди, ворочая чернозем, и солнце жгло их, и ветер палил, и жили с ними почти одной жизнью овцы, лошади, быки, и разговаривала на понятном им языке птица, — так протекали века.

Я разговорился со стариком — он был черен и весь покрыт сеткою мелких, с забившейся пылью, морщин, похожий на глыбу вывороченного лемехом чернозема.

— А так, — говорил он сурово, насупленно глядя в качающийся пол, — старину забыли... Бог дал тебе скотинку, — ходи округ нее, дал землю, — в поте лица потрудись над ней. А мы что! Лясы да белиндрысы, спинжаки да сапоги под лаком. Теперича бог нам дал ноги, чтобы по святой его земле ходить, а мы вот с вами трусимся, беса тешим.

Я изумился:

— Так зачем же вы едете?

Он помолчал и спокойно ответил:

— Мне на ярманку надо, а на лошади-то сколько протянешь.

Сколько я с ним ни говорил, он, как кряж, вырастал из старины, из чернозема, из мед-

ленной вековой мужичьей жизни, которая медлительно проходит мимо астрономии, мимо усовершенствованных способов обработки, ибо есть солнце, дожди, ветры. И если он понемногу сдается просачивающейся каплями культуре, если едет в вагоне, когда есть ноги, так это — не противоречащее противоречие.

Но ведь это — Толстой!

Толстой — это огромная глыба мужичьего чернозема, над которым только солнце, только ветер, дожди, да почти человечьи отношения с овцами, лошадьми и быками, — и надо всем тысячелетия.

Где-то в народных глубинах темно теряются толстовские корни.

Успенский удивительно изображал мужика, но *изображал*. Толстой сам поднимается из чернозема и, не подозревая того, не изображает, нет, он *чувствует*, так, как чувствуют в тех черноземных глубинах. Он несет стихийные народные ощущения, может быть, звериные, звериные не в смысле жестокости, а в смысле первичности. Так зачем же ему астрономия и железные дороги?

Но ведь — граф! Но ведь утонченнейший из людей!

Так что ж... У Киплинга — чудесный рассказ. Молодой индус из джунглей попадает в Лондон, кончает университет, делает изумительную карьеру, становится министром великой страны. Все к его ногам — слава, почести, богатство и английские леди лучших фамилий.

А он, когда стукнуло сорок лет, снял министерские одежды, вернулся в родные джунгли, взял посох и странствующим дервишем шел все дальше и дальше через деревни, леса, пустыни, поднимаясь все выше и выше на суровые неприступные Гималаи. Над нависшими снегами поселился отшельник, и народ стекался к святому.

Так и Толстой.

ПИСАТЕЛЬ И ЧИТАТЕЛЬ

Ведь когда говоришь с собеседником, так взглянишь в его глаза, видишь игру его чувств и мыслей, на каждое твое душевное движение отвечает немедля движение его души. В этом постоянном созвучии двух разговаривающих вся прелесть, смысл и значение живого разговора, живого человеческого общения.

Представители творчества во всех областях искусства в сущности ведут разговор с теми, кто воспринимает их творения. Говорят языком звуков, языком красок и линий, живым языком сценического искусства или языком недвижно запечатленных на бумаге рассказа, повести, романа. Но тут в положении представителей творчества глубокая разница.

Вот поет скрипка. Тысячный зал не шелочнется, не вздохнет, как будто среди освещенных стен никого нет, только блещут блеском затаенности тысячи глаз. Поет скрипка, и тот, кто поет на ней, как девятым валом взмыт на вершины своего творчества этим молчанием

тысяч, дыхания которых не слышно.

Отзвучала последняя нота, трепетно замерла, а все стоит между освещенных стен гробовое молчание. Проходят секунды, как вечность, и только опомнившийся зал все заливает оглушающим взрывом. Такие минуты для артиста незабываемы.

И не в рукоплесканиях тут дело, нет, — это дешево стоит, — а в глубоком и непосредственном общении артиста и слушателей.

Артист, на сцене творящий жизнь, видит слезы зрителей, слышит рыдания или видит весь зал, заливающийся неукротимым смехом. И это незабываемо.

Даже художник, вмешавшийся в толпу, перед своей картиной, неузнанный, молча наблюдает эти не отрывающиеся от картины лица, захваченные творением.

Но в совсем особом положении огромный разряд представителей творчества — художники слова, писатели. Все их творчество проходит в тиши уединения. Они одиноко думают, одиноко чувствуют, одиноко создают образы, претворяют жизнь. Их творчество, как таковое, как индивидуальные переживания,

нестираемой чертой отделено от читателей. Писатели — сами по себе, читатели — сами по себе; не любит творчество шума и суетности, — оно одиноко.

И только уже воплощенное, оно, как птица, легкими листками разлетается по свету. И вот тут-то, после мук творчества, надвигаются муки одиночества. Где же читатель? Где его лицо? И что говорят его глаза? Бьется ли его сердце в унисон с писательским сердцем? Друг ли он, читатель, или враг? Или — что наигорше — равнодушно проходящий мимо путник?

Нет ответа. Перед глазами не играет гамма чувств и ощущений на читательском лице; не спрашивают, не укоряют, не увлекают глаза читателя. Читатель, кто ты? И где ты, сфинкс-читатель?

Правда, в известной мере читатель отзывается на произведение писателя, это — в критике. Ведь критик — тоже читатель.

Но критик — не просто читатель, это — испорченный читатель. Он испорчен профессионализмом. Это читатель, потерявший непосредственность восприятия. Для него дело не

в переживаниях творчества, а в технике, не что, а как.

Он во что бы то ни стало должен дать анализ произведения, и это убивает непосредственность переживаний.

Обыкновенный читатель, тот, который так дорог писателю, заразится отчаянием героя рассказа или повести, заплачет его горем, посмеется его смеху, порадует его удачам.

Критик же в первую голову спросит себя: «А как сделан этот герой?», «Как построен рассказ?», «Вытекают ли поступки, душевные движения, горести и радости героя из его внутреннего душевного строя и внешних условий?»

Конечно, и обыкновенный читатель в известной мере задает себе эти вопросы: и самый заядлый критик в известные моменты забывает свой профессионализм, забывает о технике и непосредственно переживает творческие образы. Но это в известной мере. В основном же они каждый по-своему подходят к художественному произведению.

И чем непосредственнее читатель подходит к произведению, тем он дороже писате-

лю. И тем жаднее писатель ищет читательского отклика на свое произведение, ищет общения с читателем-другом.

ТРЕЩИНА

В Америке, в Калифорнии, как-то произошло громадное землетрясение. С грохотом лопнула земля, и — не окинешь глазом — добежала чудовищная трещина.

Все, что было около, все стало валиться туда: люди, лошади, дома, заборы, улицы, сады, рощи. Так и зияла, чернея, эта трещина, разделяя стену, — и по краям ее было пустынно.

Такая же трещина побежала между социальными слоями русской земли от взрыва великой революции. И стали валиться туда, выворачиваясь: старые порядки, старые формы грабежа и угнетения народного, старые, всосавшиеся привычки подавления народной воли, — и по краям в грозной наготе глянули друг другу в лицо те, кого сосали и кто сосал.

Ахнули все!..

Можно ли задержать опять этот провал? Можно ли засыпать пропасть, перекинуть мостик, замазать, чтоб дыры не видеть было?

Нельзя, ибо бездонно.

«Нет, можно», — хором и хрипло подняли вой те, от кого, отрываясь, повалились в про-

вал и прежняя власть, и сытость, и уж готовы повалиться и земли, и часть огромных прибылей банков, фабрик, заводов, домов; «можно», — хрипло и иступленно кричали они.

Чем же добиться?

Лганьем.

И их газеты, их журналисты, их ученые, их писатели, их ораторы лганьем, клеветой, искажениями, неверными сопоставлениями, умолчаниями, искусно ложным освещением событий стали засыпать роковую трещину.

В поте лица своего эти люди едят хлеб свой — за полгода все оболгали.

И по-разному лгут, соответственно своей специальности и натуре своей.

Иные цинично и нагло, в открытую: с голого, мол, как со святого. Иные — тонко и заботливо, как кружево плетут, по-ученому. Иные — вдохновенно, ибо сами верят своему лганью. Иные — горько и смиренномудро, ибо — иудушки. Всяк по-своему, но все в одно.

Ведь стоит сказать, что крестьянство должно получить землю, как со всех сторон:

— Ага, демагогия! Заискивание перед мужиком...

Достаточно сказать, что рабочему нужен восьмичасовой день:

— Демагогия! Лесть и заискивание перед рабочим...

Достаточно сказать, что солдат — такой же человек, как все, как вой со всех сторон:

— Развал армии.

Достаточно сказать, что рабочие, крестьяне, солдаты могут отстоять мало-мальски человеческую жизнь для себя только своими организациями, как раздаётся оглушительный вой:

— Возбуждение классовой розни и вражды!..

Что же, искусники неправды, неужто надо крестьянину говорить:

— Ты и помещик — одно.

И рабочему:

— Ты и фабрикант — братья.

И солдату:

— Будь бессловесным, покорным животным, — начальство все за тебя обдумает.

Нет, так прямо они не скажут. А шесть месяцев стараются обвить паутиной обмана и искажениями народный ум, шесть месяцев

капает пот предательства с преступного клеветнического чела.

Но не засыпать вам, лгуны, рокового провала!

Пусть только рабочий, крестьянин и солдат отчетливее различают лгунов, под какой бы личиной они ни выступали.

Грозный провал можно разве только завалить телами расстрелянного народ?.

Но...

Судьба не выдаст, свинья не съест.

ПАУКИ И КРОВСОСЫ

Капиталист владеет средствами и орудиями производства. Его дело наживаться на чужом труде, всеми дозволенными и недозволенными способами выжимать прибыль. Ему бы платить рабочему за его каторжный труд как можно меньше, лишь бы рабочий не умер с голоду, мог работать. Рабочие ничего не имеют и, чтоб не умереть с голода, вынуждены соглашаться на условия, Какие поставит им капиталист.

Тут происходит безумная, бесчеловечная эксплуатация человека человеком. Рабом дорожили, как дорожат лошадью, потому что тот и другая стоят денег. Рабочим не дорожат, а выжимают из него все, что можно выжать. И если он упадет, его выбрасывают, а на его место найдутся десятки незанятых рабочих рук.

Посмотрим же, в каких условиях работает, живет и дышит русский рабочий.

Отчеты фабричных инспекторов, расследование различных правительственных и земских комиссий дают тяжкую картину.

Вот, например, льнопрядильные фабрики. Мастерские грязны, пол липкий, воздух тяжелый, гнилой, а на некоторых фабриках буквально запах помойной ямы.

Где обрабатываются низшие сорта льна, не только трудно дышать, но и трудно видеть, — все в сером тумане, и каждый входящий покрывается пылью, как мукой. В этой пыли, кроме волокон, еще кремне-кислые соединения, разрушающие легкие, — оттого так много чахоточных, — да летит с пылью костра, выедающая глаза, и рабочие ходят с вечно распухшими, красными веками. О вентиляции, о покрытии крышками чесальных машин, отделяющих массу пыли, нет и помину.

На хлопчатобумажных фабриках та же масса выделяющейся пыли, то же отсутствие вентиляции, так же косит чахотка.

На суконных фабриках невероятная теснота; машины набиты в мастерских, и в узких проходах еле пролезешь. Спереди, сзади, с боков грозно несутся в безумной скорости валы, шестерни, маховики, приводные ремни, вырывая чудовищное число жертв среди рабочих.

Так называемые «мокрые» отделения — холодные, сырые, пронизывающие подвалы; работницы то и дело ходят оттуда в сушильни, в сушильнях сорок градусов жары, а из сушилен опять в подвал.

На табачных фабриках невероятная теснота, скученность, грязь и отравленный табачком воздух. От отравления никотином у рабочих желудочные и головные боли, одышка, нервные страдания. Из махорочных сушилен рабочих нередко вытаскивают в глубоком обмороке.

На фосфорных заводах и спичечных фабриках воздух отравлен массой ядовитых газов, а вентиляции никакой. От паров фосфора чернеют омертвевшие челюсти и вываливаются зубы.

У всех рабочих зеркальных заводов дрожат руки, изо рта отвратительный запах, синие десна распухли, лица серые, вид худосочный, болезненный, — все поголовно отравлены страшными ртутными парами.

На химических заводах, вследствие отсутствия хорошей вентиляции, все рабочие отравлены ядовитой пылью, газами и пара-

ми.

На сахарных заводах зловонно, тесно, грязно и невероятная до сорока градусов жара. Задыхающиеся рабочие, чтоб глотнуть свежего воздуха, выбивают зимой в окна стекла, а от морозного сквозняка — ревматизмы, тяжкие простудные и легочные заболевания.

Из этой страшной жары через весь двор в мороз босые и полуодетые рабочие, бегут в отхожие места. Но есть заводы, где таковые совсем не устроены, и рабочие отправляют естественную надобность где попало.

В невероятно темных, сырых, грязных помещениях для мойки бураков рабочие целый день стоят босые в воде, а в паточных — в патоке, которая до язв разъедает ноги.

Крутящиеся маховики, шестерни, мелькающие огромные приводные ремни тесно расставленных и редко огражденных машин уродуют и калечат работающих, — сахарные заводы поставляют огромное количество инвалидов.

В бакинском районе ежегодно добываются и перерабатываются сотни миллионов пудов нефти. И в этом громадном производстве, об-

служивающем всю Россию, полное отсутствие санитарных мероприятий.

Нефть и ее газы, едкие щелочи и кислоты разъедают кожу, и рабочие поголовно страдают болезнями кожи и подкожной клетчатки. По всему телу сыпь. Заболевания тягостны и мучительны и иногда приводят к смерти. Почти у всех болят глаза.

Человеку, попавшему на металлургический, чугуноплавильный и сталелитейный завод по выплавке из руды металла и его первичной обработке, чудится, что он попал в ад крошечный. Пышет невыносимый ослепительный жар. Рабочие с красными лицами, с налитыми кровью глазами обливаются потом. Пульс учащен, дыхание торопливо. Не выдерживая, они бросаются и глотают ледяную воду. А когда высыхают их рубахи, то становятся как лубок, — так много остается солей от пота.

Разные предохранители: особенная одежда, очки, налочки — либо совсем не имеются на заводе, либо преспокойно хранятся в кладовых.

В этом аду люди изнашиваются необычно-

венно быстро, и болезни органов дыхания, пищеварения, ревматизм, заболевания мышц, сочленений плодят массу преждевременных инвалидов.

Но и в тех отделениях завода, где нет такого страшного жара, не лучше. Вследствие отсутствия хорошей вентиляции в отделениях по точке и шлифовке металлических изделий носится тончайшая металлическая и каменная пыль, — ведь сухой точильный камень делает три тысячи оборотов в минуту.

Эта пыль разрушительна и в громадном числе вызывает тяжкие заболевания слизистых оболочек и легочную чахотку. Рабочие доживают здесь только до сорока пяти лет.

Как ни тяжка обстановка всех этих работ, но люди хоть видят дневной свет.

А в рудниках при добыче каменного угля работают в кромешной тьме, слабо раздвигаемой красноватым светом дымящей лампочки. С потолка, со стен бежит вода, и каждую минуту обвал грозит задавить обрушившейся грудой; либо хлынет и затопит вода, либо страшным взрывом подземных газов завалит рудник, ибо меры предосторожности прини-

маются слабые.

Рабочий-забойщик, вырубающий уголь, даже сидеть при работе не может. Он врубает в пласт кайло, лежа на боку или на спине. Вентиляция так плоха, что воздух насыщен угольной пылью, и она проникает в легкие, в желудок, в кишки. И целыми днями поднявшийся из рудника шахтер харкает черной, густой, как сажа, мокротой.

От вечно мокрой одежды — частые простуды, бронхиты, воспаления легких, плевриты, ревматизмы. Вследствие неудобного постоянно лежащего положения на боку или на спине и плохого освещения — параличи глазных мышц. Пятнадцати лет работы на шахтах совершенно достаточно, чтоб из молодого крепкого деревенского парня сделать к тридцати пяти — сорока годам разваливающегося старика.

Вот в какой обстановке изо дня в день, из года в год приходится проводить в напряженном труде свою жизнь русскому рабочему.

Конечно, фабрика на фабрику, завод на завод не приходится. На иных санитарные условия несколько лучше, на иных — хуже. Есть

даже блестящие, хотя и единичные, исключения по прекрасной постановке санитарных условий и заботе о здоровье и безопасности рабочих. Но общая картина невыносимо тягостна. Люди живут и работают, задыхаясь, без просвета и надежды.

Посмотрим теперь, как и в каких условиях проводят остальную свою жизнь рабочие, — каковы жилищные условия рабочего класса.

Самое отвратительное положение тех рабочих, которые живут, и едят, и спят в тех же мастерских, где и работают.

Вот, например, рогожная фабрика.

Когдаходишь в нее, попадаешь будто в лес — всюду густо висит на жердях и веревках мочала, из-за которой ничего не видно. Пол под мочалами на два, на три вершка затянут липкой вонючей грязью. Доски сгнили; в выбоинах — лужи жидкой грязи. Всюду кадки с водой, между кадкамии ползают дети.

Вдоль стены, против каждого окна, грязного, низкого и тусклого, стоит становина, — четыре стойки с перекладинами, нечто вроде клетки длиной в четыре, шириною в три аршина. А между становинами — лес висящих

мочал.

Становина — это стойло, где рабочая семья проводит все двадцать четыре часа суток. Здесь кипит работа, работают рогожники, здесь же едят, отдыхают; здесь же спят, одни на досках поверх становины, другие на куче мочалы — на полу, — о постелях нет и речи. Здесь и рожают на глазах у всех, здесь отлеживаются больные, здесь и умирают.

Гигиена требует на человека 3 куб. саж. воздуха. В рогожных же мастерских на человека приходится иной раз 0,9 куб. саж. воздуха, — такая невыносимая теснота и давка. Как дышат люди, непонятно.

К тому же жарко топят печи, чтоб скорее сохли мокрые мочалы, и стоит тяжкий банный, распаренный воздух, ибо вентиляции, конечно, никакой.

Вся смываемая с мочалы грязь стекает на прогнивший пол, с которого ее в виде толстого слоя сгребают только раз в году, когда рогожники на лето уходят в деревню.

Так живут поколения...

В овчинно-дубильных заведениях рабочие сплошь и рядом также не имеют отдельных

квартир и живут и спят в квасильнях, всегда жарко натопленных, полных удушливыми испарениями от квасильных чанов и сушащихся овчин.

В хлебопекарнях тоже нередко рабочие спят на тех же верстаках, на которых размещается и раскатывается тесто, а случается, спят и на тесте.

Исследователи положения рабочего класса утверждают, что на всех крупных фабриках с ручным производством, как, например, ручные бумаготкацкие, шерстоткацкие, шелкоткацкие, ситценабивные и другие, все рабочие живут в тех же мастерских, где работают, располагаясь на ночь на полу, на верстаках, на становинах. И только переход ручного производства на механическое и почти одновременный и неразрывный с этим переход от дневной работы на непрерывную работу в течение целых суток делает ночевку рабочих в мастерских уже немыслимой.

Многие заводы и фабрики строят для своих рабочих казармы или общие спальни. Эти спальни набиваются народом сплошь. Женатые и холостые, дети и взрослые, старухи,

парни, девушки спят вповалку без всяких перегородок, тесно и грязно.

Если казарма разделена на каморки, в каждую каморку напихивают по несколько семей.

Те рабочие, которые не живут в казармах, снимают углы и койки у съемщиц квартир; редкие занимают отдельную комнату. Углы же и коечно-каморочные помещения — гнезда заразы, грязи, нечистоты, болезней и разврата.

Так отдыхает и набирается новых сил для работы рабочий.

Постоянно подвергаясь на работе опасности быть искалеченным, убитым, отравленным, обеспечен ли по крайней мере рабочий медицинской помощью со стороны искалечившей его фабрики или завода?

Или совсем нет, или очень неудовлетворительно.

Еще в 1866 году издан был закон, по которому заводчики и фабриканты обязывались устраивать больницы из расчета одной кровати на сто человек рабочих, но этот закон так и остался на бумаге. Хотя заводские и фаб-

ричные больницы и были открыты, но только для отвода глаз.

Заболевшего рабочего, вместо того чтобы класть в больницу, попросту выгоняли из фабрики или с завода, а на его место брали здорового, — для предпринимателя и просто, и удобно, и выгодно.

Так расправлялись хозяева с заболевшим рабочим.

Еще горшая судьба постигала рабочих, изувеченных машинами, тех рабочих, которых фабрики и заводы превратили в инвалидов.

Тут страшные цифры.

Самые лютые войны не давали такого процента раненых, какой дают русские фабрики искалеченных инвалидов.

В русско-турецкую войну русская армия потеряла ранеными 13,5 %. Во франко-прусскую войну 1870–1871 года число раненых не превышало 10,8 %.

А на русских фабриках ежегодно калечится из каждых *ста* человек *четырнадцать*.

По отдельным производствам этот процент еще выше. Так, на фабриках Московского уезда из каждых *ста* человек калечится

тридцать, то есть треть рабочих выбрасывается ежегодно за ворота калекими. Чудовищная цифра! На всю Россию фабрики и заводы поставляют от ста пятидесяти до двухсот тысяч искалеченных людей.

Разумеется, каждый искалеченный рабочий мог предъявить к хозяину иск за увечье, но и тут в большинстве случаев его ждала неудача, ибо гражданские законы построены были так, чтоб оберегать интересы главным образом капиталиста, хозяина. По гражданским законам при иске о вознаграждении потерпевший должен был доказать вину предпринимателя. А доказать вину предпринимателя при обычной обстановке фабрично-заводской работы чрезвычайно трудно, и предприниматель всегда легко сваливает вину на неосторожность рабочего.

Да к тому же надо принять во внимание бедность, темноту, забитость народных масс, судебную волокиту. Не удивительно, что в лучшем случае дело оканчивалось выдачей калеке нескольких десятков рублей.

Один пример, но типичный, для всех предпринимателей, ярко освещает положение ра-

бочих.

На Ушкинском заводе графа Стенбок-Фермора рабочий Демид Векшин проработал *пятнадцать* лет. За *один* прогульный день все эти пятнадцать лет были вычтены из срока на пенсию. Векшин снова проработал *четверть* века и погиб в турбине. Трое его сыновей проработали на том же заводе в общей сложности восемнадцать лет, и один за другим все трое погибли от несчастных случаев. Осталась их мать, старуха, жена Демида Векшина. Заводское управление назначило ей пожизненную пенсию в *один рубль семьдесят две копейки в год*.

Итак: пятьдесят восемь лет работы, четыре жизни и... 1 рубль 72 копейки пенсии.

Так было по всей России.

Так тяжело приходилось жить и трудиться русскому рабочему. Так беспомощен был он во время болезни, так не обеспечены были он и его семья в случае несчастья, в случае смерти.

Теперь взглянем, какой длины был его рабочий день, как он оплачивался и каковы бытовые условия жизни рабочего класса.

По отчетам фабричных инспекторов длина рабочего дня на большинстве фабрик и заводов, где работа шла и день и ночь, была двенадцать часов. Такая продолжительность работы без отдыха, такое длительное напряжение силы и внимания крайне изнурительно и разрушающе действуют на здоровье.

Но там, где этот же двенадцатичасовой день разбивается на две шестичасовые смены, причем в течение одной недели смены приходится на ночную работу, — еще тяжелее. Все сутки рабочего разбиваются на кусочки. После смены ему дается только три с половиной часа на сон. Едва уснул, будят на полчаса, и только затем, чтобы не стояла машина. После этого снова дается три с половиной часа на сон, и опять свисток на работу. И так всю жизнь.

Двенадцатичасовой день был установлен примерно в 80 % фабрик. 20 % фабрик и заводов устанавливали у себя еще более продолжительный день, который доходит до тринадцати — пятнадцати часов в сутки и даже, как это ни невероятно, — еще выше.

В некоторых крупных ремесленных заве-

дениях рабочий день отличается необыкновенной продолжительностью — без отдыха, даже без праздников, как, например в булочных.

Заработная плата по разным производствам в 80-х годах для рабочего в среднем колебалась от семи рублей в месяц (позументные фабрики) до тридцати пяти рублей в месяц (Московский округ).

Но эту чудовищно низкую плату предприниматели умели всякими правдами и неправдами и еще урезать. Для этого пускались в ход всякие средства.

Одно из них — штрафы. До закона 1886 года штрафные деньги шли в карман хозяину, и предприниматели щедро сыпали на рабочих штрафы, повышая таким образом свою прибыль.

На Никольской мануфактуре Саввы Морозова, например в Орехове-Зуеве, штрафы достигали трехсот тысяч рублей в год и более. Это составляло до 40 % всей заработной платы.

На огромном Юзовском заводе рабочий шагу не мог ступить, чтобы не быть оштрафо-

ванным. Опоздал на пятнадцать минут — штраф в три рубля. Покажется мастеру или сторожу, что рабочий вышел, — штраф. Поздоровался недостаточно приниженно — штраф.

Встречаются штрафы за перелезание через фабричный забор, за охоту в лесу, за сборище в одном месте нескольких человек и т. д.

Следующий способ выкачивания из рабочего прибылей — это оттягивание расплаты с рабочими. Так, например, на многих крупных фабриках заработная плата выдавалась только под большие праздники — восемь раз в год, шесть раз, пять и даже четыре раза в год. Наконец, были фабрики, на которых вовсе не существовало определенных сроков расплаты. И когда, например, надо купить шапку, рабочий вымаливал несколько гривенников.

Удерживаемую на длинные сроки заработную плату предприниматель пускал в оборот, то есть рабочий ссужал капиталиста беспроцентно своей заработной платой, а капиталист, пуская эти деньги в торгово-промышленный оборот, получал на них процент.

Но ведь жить-то надо. Кормиться и кор-

мать семью надо, и рабочий, не получая долгие сроки заработной платы, был совершенно беспомощен.

Тут к услугам являлись фабричные лавки для рабочих, — это третий насос для выкачивания из рабочего его кровного заработка. На многих фабриках забор продуктов в фабричных лавках был обязателен. А там, где не обязателен, рабочий волей-неволей берет в фабричной лавке, так как вследствие долгих сроков расплаты он не может покупать на наличные, а в долг посторонние лавочники не дают без ручательства конторы, а контора, разумеется, не ручается.

Цены же в фабричных лавках гораздо выше рыночных, выше на 20 %, иногда на 80 %. Благодаря этому капиталисты клали в карман десятки и сотни тысяч рублей прибыли от фабричных лавок.

Итак, если из нищенских 4,26 копейки за час вырезать то, что идет на штрафы, да в фабричные лавки, поедающие своей безбожной дороговизной, да в беспроцентную, подневольную ссуду хозяину, то... то остается удивляться, как же все-таки ухитрялся жить

русский рабочий.

Всю эту невероятную эксплуатацию, обидительство окутывают, как удушливым дымом, бесправие, гнет, полнейшее подавление человеческой личности рабочих, необузданный хозяйский произвол.

Не только труд, не только рабочие руки в полном бесконтрольном распоряжении хозяина, но и на все время рабочего, на все его действия предприниматель кладет свою тяжелую руку.

На некоторых фабриках рабочему в свободное время воспрещалось выходить за ворота, жили как в тюрьме. На других фабриках штрафовали за пение песен на улице, за «многоглаголанье» и проч.

В Смоленской губернии находилась громадная мануфактура купца Хлудова, нажившего миллионы. Но он не только наживал, он заботился и о спасении своей души. Однажды пожертвовал сто двадцать тысяч рублей на типографию, печатавшую богослужебные книги для старообрядцев. Сделав пожертвование, отправился на мануфактуру и понизил жалованье рабочим на 10 %. Не только о душе

позаботился, но и хорошо заработал. В 1882 году громадная пятиэтажная мануфактура его загорелась. Тотчас рабочих заперли в горевшем здании, чтобы лучше тушили пожар. После пожара вывезли *семьвозов обгоревших трупов*, а Хлудов получил миллион семьсот тысяч рублей страховой премии.

Такая же история вскоре повторилась в Петербурге на табачной фабрике братьев Шапшал. Фабрика загорелась, а работниц заперли, чтобы... не расхитили как-нибудь хозяйский табак, — масса работниц сторела.

Фабричная и заводская администрация была обычно крайне груба, придирчива и высокомерна с рабочими. Лица, получившие образование, били рабочих, осыпали их бранью. Про мастеров, вышедших из среды рабочих, и говорить нечего.

«Культурные» представители западноевропейского капитала, основавшегося особенно в наших южных металлургических предприятиях, ничуть не отставали от наших доморощенных предпринимателей в эксплуатации рабочего. Они с таким же азартом пускали в ход и отвратительную ругань, и кулаки,

и нагайки.

Так тяжело слагались жизнь и труд русского рабочего.

Что же сказать о малолетних рабочих фабрик и заводов?

По закону было установлено, что на казенных горных заводах не могут приниматься дети моложе двенадцати лет. Рабочий день малолетних моложе пятнадцати лет не должен был превышать восьми часов; ночные работы для них были совсем запрещены, и работать они могли только на поверхности, а не в рудниках.

Этот закон потом был распространен на все заводы и промыслы.

Закон, разумеется, постоянно обходился.

Работали наравне со взрослыми по двенадцати часов и более, работали и днем и ночью. Работали и одиннадцатилетние и десятилетние и еще меньше.

В фабричной промышленности детский труд широко был распространен, особенно в таких вредных производствах, как спичечное, где малолетние составляли более 50 % всех рабочих, фабричным инспекторам при-

шлось выдерживать упорную борьбу с предпринимателями, которые скрывали противозаконно работавших у них малолетних — ниже двенадцатилетнего возраста. Детей прятали на чердаках, в погребах, в отхожих местах. А ведь работали пяти-шестилетние ребяташки.

А отсюда — худосочие детей, анемичность, всевозможные болезни и страшная смертность. Конечно, школы мог посещать ничтожный процент детей. Да и те, кто посещал школу даже после восьми часов работы, засыпал на уроке от переутомления.

Положение женщины-работницы было не менее тяжко. Те же непосильные работы, та же грубость, отвратительные обыски, которым их подвергали всенародно каждый раз при выходе из фабрики, и страшная проституция, на которую их толкали мастера и вся фабричная администрация. Девушка, которая не поддавалась, всячески преследовалась и выгонялась с фабрики, а если становилась матерью, тоже выгонялась.

Таково было положение рабочего класса.

В КАПЛЕ

Существует в Москве Литературно-художественный кружок. Это — клуб литераторов, художников и артистов.

В этом клубе в известные дни собираются, между прочим, члены литературного общества «Среда». «Среду» организовали беллетристы и поэты. Собираются они там, читают свои новые рассказы и стихи, потом обсуждают прочитанное. Приходят туда и гости, — доктора, адвокаты, чиновники, художники, артисты, дамы, барышни, вообще народ, так или иначе интересующийся литературой. Я состою членом «Среды» почти с самого ее возникновения. Родилась она лет шестнадцать — семнадцать тому назад. Не раз и я читал там свои произведения.

На днях состоялось такое заседание «Среды». Председательствовал журналист, старый народник Юлий Бунин. Были писатели: Иван Бунин, Евгений Чириков и многие другие.

На этом заседании группой членов было мне заявлено, что я не могу быть больше терпимым в «Среде», что должен выйти из состава

ва ее членов. Было сказано это с неожиданно страстной злобностью и принято остальными с молчаливым злорадством.

Сам по себе случай маленький, но, как в капле, отразилась в нем вся громада событий.

Что же я сделал такого, за что писатели, поэты, артисты, художники вынуждены были исключить меня из своей среды?

Может быть, я обманул, оклеветал кого-нибудь?

Нет.

Может быть, поиздевался над бессильным, обидел беззащитного?

Нет.

Может быть, обокрал, избил, изувечил?

Нет.

Может быть, поставлено было в вину присутствующими социалистами мое участие в буржуазной прессе?

Нет.

Может быть, наконец, я изменил себе, изменил свое литературное лицо, изменил тому сокровенному, что бережно нес через всю свою четвертьвековую литературную работу?

Нет, я все тот же, и такого обвинения мне

никто не бросил.

Так за что же меня исключили из своей «Среды» писатели, поэты, журналисты?

За то, что я принял на себя ведение литературно-художественного отдела в «Известиях совета рабочих и солдатских депутатов», где я сотрудничаю уже восемь месяцев.

Что же я буду делать в этом отделе?

Я буду стараться подбирать рассказы, очерки, стихотворения; буду стараться давать читателям «Известий», то есть рабочим, солдатам и крестьянам, по возможности лучшее художественное чтение.

Но разве это преступно и безнравственно?

Нет, это не преступно вообще, но это становится сейчас же преступным, как только делается рядом с большевиками.

Почему?

Да потому, что литераторы — Иван Бунин, Евгений Чириков, Юлий Бунин и все, присутствовавшие на собрании, заявили, что между ними и большевиками вырыта глубокая непроходимая пропасть: по одну сторону — писатели, журналисты, поэты, художники, артисты, а по другую — большевики.

Но кто же такие большевики?

Большевики — это почти поголовно все рабочие, громадная масса солдат и очень много крестьян; сказать, что большевики — это кучка «захватчиков» в редакции «Известий» да в Смольном — глупо или для всех явно лицемерно.

Но как же могло случиться, что представители русской литературы, распинавшиеся за мужика, за рабочего, солдата, очутились по одну сторону пропасти, а эти самые мужики, рабочие и солдаты — по другую?

Как могло случиться, что Иван Бунин, так тонко, так художественно писавший мужика, очутился по одну сторону пропасти, а эти самые мужики — по другую?!

Как могло случиться то же самое с Евгением Чириковым, который писал мужиков хоть и не художественно, но жалостливо и любовно, и с Юлием Буниным, который в молодости боролся за мужика как революционер? И со всеми остальными членами собрания, которые до революции мужика и рабочего любили, а если и не любили, то были благорасположены к нему и жалели его?

Как могло случиться, что пострадавшие за мужика и рабочего, вплоть до каторги, с ненавистью говорили об этом мужике, рабочем и солдате?!

Это все объясняет одно, но роковое слово: наступила социалистическая революция, и, как масло от воды, отделилось все имущее от неимущего. И стали мужики и рабочие на одном краю глубочайшей пропасти, а имущие и так или иначе связанные с ними — на другом.

И все-таки десятки и сотни раз я слышу один и тот же вопрос: но писатели, писатели-то, это совесть русского народа, как они могли стать на краю пропасти вместе с купцами, помещиками, денежными тузами, банкирами, а следовательно, с Калединым, с Корниловым, Дутовым, как бы они от них на словах ни отрецивались.

Но ведь писатель — человек. Только милые провинциалки, приезжая в Москву и Питер, думают, что писатель — существо неземное.

Писателю нужно есть, пить, одеться, жить где-нибудь, воспитывать детей, не бояться,

что под старость очутится на улице. И если он скопил хоть немного денег или приобрел недвижимость или землицы, он станет на том краю пропасти, где накопленному не грозит опасность, то есть там, где нет ни рабочего, ни крестьянина. Это же естественно.

То же самое и с художниками, с артистами, с докторами, учителями, — с интеллигенцией, которая тоже всегда распиналась за мужика и рабочего.

Позвольте, ну, а как же те писатели, художники, артисты, которые ничего не успели скопить, которые живут заработком?

Но ведь и они кровно связаны с существующим строем, связаны заработком, привычками, культурой, всем обиходом своей жизни, самым воздухом, которым они дышат вместе с имущими.

При коренном социальном перевороте они не уверены, будет ли им лучше. А если и верят в лучшее, все-таки предпочитают синицу и незаметно перебираются на тот край пропасти, где нет рабочего и крестьянина.

И вовсе не нужно представлять себе все это грубо или что люди делают все это лице-

мерно, втайне думая только, как спасти свое имущество, или социальное положение, или свой заработок. Ничуть. Люди совершенно искренно думают, что, отстаивая существующее, они отстаивают интерес *всего народа*. Создается определенная психология, в которой нет лжи в самой себе, но покоится она на фундаменте желания оставить по-старому свое положение.

Но почему же, возражают, при царском гнете многие из них боролись, не щадя себя, а теперь точно подменили их?

Да все потому, что тогда добывались политические права, нужные, необходимые имущим. Оттого тогда и из помещичьих и буржуазных семей шли на борьбу, а теперь громадная масса учащегося юношества — студенты, курсистки, гимназисты — идут в демонстрации на той стороне пропасти, где «нет ни одного солдата», нет рабочего, нет крестьянина, которые бы грозили этой молодежи и ее семьям имущественным перераспределением,

И все это естественно и понятно.

Одно мне непонятно, перед одним я оста-навливаюсь в великом недоумении: отчего

затемнились часто зоркие творческие глаза художников? Отчего мимо них, как мимо слепых, проходит красота, грандиозность совершающегося? Как творчество художников не заразится жаждой отображения невиданной общественной перестройки?

Все видят, как солдаты торгуют спичками, переполняют трамваи, ломают вагоны, разбирают погреба, как рабочие вывозят на тачках администрацию, как крестьяне разоряют имения; видят ошибки, падения и злоупотребления; и никто не видит колоссального, невиданного до того в мире созидания народной власти. Даже не в центре, не в Смольном, а по всему лицу земли русской, в каждом уголке ее. После сотен лет рабства, угнетения, мертвой петли, убийства всякого почина русский народ выпрямляется, гигантски организуясь. Тридцать лет и три года без ног, а теперь поднимается.

И пока без ног лежал, как чудесно, как тонко, как художественно воссоздавали его художники! Как проникновенно, любовно писали они мужика, забитого, темного, корявого, бессловесного!

А когда он стал подниматься, когда широко разинул на сотни лет смежившиеся глаза, когда пытается заговорить не косноязычно: «тае», а по-человечески, — тогда от него слепота перекинулась на художников, и видят они только спички, трамваи, винные погреба.

«Мне отомщение, и аз воздам».

Да, страшное отомщение: слепота творческого духа. Мелкая злоба, мелкая и мстительная, заслонила вещи очи творчества.

Ну, что ж! По ту сторону непроходимой пропасти, где сгрудилось крестьянство, рабочие и солдаты, осталось чудесное писательское наследство — великая русская литература, а русские писатели потихоньку перебираются на ту сторону неизмеримого провала, где нет рабочих, нет крестьян, нет солдат.

Принимайте же, товарищи, это чудесное наследство и готовьте новое поколение, которое бы достойно умножило его!

И берегите, как зеницу ока, то, что родилось среди вас, родилось, развернулось в громадном даровании... и не *оторвалось* от вас!

* * *

Из прокламации

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

**Пролетарии всех стран, соединяйтесь:
КРАСНОГВАРДЕЙЦАМ, ЕДУЩИМ НА ДОН,
ОТ МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА Р.С.-Д.Р.П.**

НАКАЗ

Товарищи и братья наши!

Вы несете свои молодые жизни на борьбу с последним оплотом угнетения замученного трудового люда, идете против засевших с ген. Калединым на Дону и на Украине помещиков.

Вы идете туда, и наши глаза, не отрываясь, все время будут смотреть в ту сторону; наши помыслы, наши тревоги, наши радостные надежды будут тянуться за вами, и наши сердца будут биться вместе с вашими сердцами.

Как пролетариат во всех революционных выступлениях идет впереди восставшего народа, так и вы, дети пролетариата, идете впереди революционных войск и открываете беспощадную борьбу с кровавыми угнетателями трудящихся — с буржуазией.

Помните: во всей России сломлена си-

ла помещиков и капиталистов, и последнее свое убежище они нашли на Дону и на Украине, у донских и украинских помещиков и богачей.

Помещик — генерал Каледин поднял восстание против рабочих, крестьян и солдат. Он старается захватить на юге каменноугольные шахты, чтобы не дать городам, фабрикам и заводам угля, — пусть, мол, вымерзнут жители городов; пусть остановятся фабрики и заводы и нельзя будет наладить снабжение крестьян-землеробов мануфактурой и железом. Он старается захватить железные дороги и уже не пропускает в Россию и на фронт хлеб — пусть вымирает население, пусть вымирают от голода солдаты в окопах. И когда эту разруху он доведет до высшего предела, снова возьмут власть в свои руки помещики, капиталисты, генералы, архиереи — вернут себе земли и огромные барыши, закроют народную кровь русскую землю, наденут на шею трудящихся еще не виданное ярмо бесправия, и застоит русский народ от невыносимых налогов.

Как это всегда бывало, донские помещики, капиталисты, и украинские и прибежавшие к ним наши российские, ведут борьбу за власть, за землю, за капиталы обманом. Как прежде при царской власти, обманутые темные солдаты, не ведая, что творят, стреляли в своих братьев-рабочих, так казаки и украинцы ныне обманываются своими генералами, офицерами, помещиками, которые их пугают тем, что будто бы рабочие и крестьяне хотят отнять у них земли, отнять у них волю.

Товарищи красногвардейцы, громким голосом скажите вашим братьям-казакам, вашим братьям-украинцам: это полный обман. Никто на их земли не посягает, ибо они такие же труженики, как и рабочие; они так же потом своим поливают родную землю, как и крестьяне. И они так же страдают от гнета своих генералов, офицеров, помещиков и капиталистов, как и весь трудящийся люд России. И они так же несут всю неизмеримую тяжесть государственных расходов, как рабочие и крестьяне остальной Рос-

сии, в то время как помещики и капиталисты пожинают обильные плоды ими не сеянного.

Пусть же подымутся братья-казаки и братья-украинцы, пусть стряхнут с себя кровавых обманщиков, пусть не дадут надеть всероссийское ярмо беспощадной помещичьей власти на шею великому русскому и украинскому народу. Пусть помнят братья-казаки и братья-украинцы: у них свобода, у них воля, у них неутесняемая земля только до тех пор, пока свобода у всероссийского рабочего класса, у всего российского крестьянства.

Идите же вы, молодые стройные ряды Красной гвардии, идите выбивать помещиков и капиталистов из их последнего убежища, идите с великим сознанием, что боретесь не с обманутым тружеником-народом, казаками и украинцами, а с злыми угнетателями всего русского трудящегося люда — с помещиками и богатеями.

Когда царское правительство слало свои войска на бой, духовенство с молебнами, с водосвятием, с хоругвями об одном только старалось — пере-

полнить сердца воинов кипучей, неуга-
симой ненавистью, и это для того,
чтобы ненавистью погасить сознание
и братское чувство между людьми.
Пролетариат же, посылая вас, громко
говорит: товарищи, не злобу и жесто-
кость несете вы братьям-казакам и
братьям-украинцам, а боль сердца и
ласковое просветленное слово убежде-
ния.

Помните: казаки и украинцы — ваши
братья, ваши так же веками замучен-
ные братья, как и вы. Протяните же
им братскую горячую руку и этой
братской любящей рукой перетяните
их на сторону трудящегося русского
народа.

Пусть и у них широко откроются гла-
за на мир: пусть и они, замученные и
усталые, полившие землю своей кро-
вью в угоду богачам, пусть они уви-
дят, что и для них пришел великий
день освобождения от помещиков, от
богачей, от генералов, от офицерства,
от всех, кто кормился их кровавым
трудом.

И вместе, рука об руку, вы свергнете
последнюю заговорщическую кучку по-

мещиков и капиталистов.

*Совершите же ваш подвиг, и засияет
невозбранно знамя свободы и счастья
трудящихся над всей русской землей
от края и до края.*

*Да здравствует борьба рабочих, кре-
стьян и солдат против капиталистов
и помещиков!*

*Да здравствует международная рево-
люция!*

Да здравствует социализм!

Московский комитет Р.С.-Д.Р.П.

ОСИНОЕ ГНЕЗДО

Турки брали у христиан детей и воспитывали из них янычар, с непотухающей ненавистью ненавидевших своих кровных.

Более тонкую и сложную систему выработала буржуазия всех стран. С помощью гимназий, реальных училищ, всяких институтов, университетов, политехникумов и проч. создаются отряды, обслуживающие буржуазный строй, буржуазную жизнь.

Инженеры, доктора, писатели, журналисты, адвокаты, учителя, чиновники, судьи, профессора, всякого рода служащие вырастают в этих гнездах и идут в жизнь строить и поддерживать господство имущих. У них с детских лет создается своя собственная психология неотрывности их жизни от жизни имущих классов.

Даже пролетарские дети, попадая в эти ядовитые гнезда, часто забывают, откуда они пришли, и, как все, становятся янычарами.

Мне скажут: «Но разве доктора не лечат рабочих? Разве адвокаты не защищают их на суде? Разве учителя не учат пролетарских де-

тей? Разве писатели не жалуются над мужичком?».

Да, профессионально, технически они обслуживают и трудящиеся классы, общественно же они работают на поддержание господства имущих, работают часто бессознательно.

Только глупец или бесстыдник скажет, что это не так.

В будничные дни янычарское воспитание детей буржуазией ускользает от глаза.

В дни же громадных политических потрясений, в дни общественных катаклизмов, система, вылепившая их разум и сердце, проявляется в страшной наготе.

Я хочу дать типичный образчик такого ядовитого гнезда.

На Малой Никитской, в великолепном доме графов Бобринских, помещается мужская гимназия Адольфа.

Среди учащихся — дети докторов, учителей, чиновников, купцов, фабрикантов, заводчиков, землевладельцев, нефтепромышленников.

Такой состав сразу определяет психологию учебного заведения. Это — лучше. В других

учебных заведениях более демократический состав учащихся обманывает глаз, а ведь сущность-то самой системы гнезда одинакова.

В гимназию Адольфа случайно попал мой сын. Перевестись было трудно, волей-неволей пришлось в ней оканчивать, и на моих глазах протекала жизнь гимназии.

Технически гимназия недурно обставлена — подбор опытных учителей, пособия и проч. Внутренне — это типичнейшее осиное гнездо по воспитанию самых непримиримых янычар имущего класса. Трудно найти другое место, откуда бы выходили более злые, более беспощадные ненавистники трудящихся.

Перед учениками — молчаливая заповедь: «Делай, что хочешь, испытывай все подлые грязные мерзости жизни, но лишь при одном условии, — соблюдай внешнюю благопристойность и приличие».

И гимназия все знает: пьянство, подлый разврат, картежную игру, секретные болезни и такие вещи, о которых и говорить не хочется.

Знали ли об этом педагоги с директором во главе?

Великолепно.

Но ведь для них одна заповедь: «Утопай в какой угодно грязи, лишь бы внешне прилично».

Но что же запрещалось и преследовалось?

Одно: какое бы то ни было общение с трудящимися. Это выражалось прежде в преследовании «политики», ныне — в злобном, ненавистном преследовании большевизма.

Тут нет ни границ, ни предела ярости педагогов и учащихся.

В это ярое, ни перед чем не останавливающееся преследование попал мой сын.

Он — в восьмом классе.

Как только узнали в гимназии о его работе среди трудящихся, началась дикая невероятная ежедневная, в самых подлых формах травля.

Ученики восьмого класса поголовно сыпали на своего товарища: шпион, провокатор, продавшийся за немецкие деньги. Заявили, что изобьют, свернут шею, если он будет ходить в гимназию. От имени всего класса заявляли на уроках учителям: немедленно уйдут все из класса, если в классе будет оставаться

преследуемый.

Что же педагоги?

Они всячески, во главе с директором, подогревали эту травлю и сами травили, как могли.

Застрельщиком выступал господин Адольф, владелец гимназии, он же — преподаватель латинского языка.

При всех подсиживаниях господин Адольф никак не мог поддеть нетерпимого им ученика на своем предмете — хорошо учился. Тогда стал науськивать учеников.

Каждый урок господин Адольф неизменно начинал одной и той же речью против большевиков, отборно ругая их и обливая ушатами грязи и клеветы.

Куда чеховскому человеку в футляре до Адольфа! Как куцому до зайца! А ларчик просто открывался: однажды господин Адольф, предварительно обругав большевиков, поведал классу со слезами:

— Что же это такое: работал я, работал всю жизнь, скопил, купил земельку, а теперь... а теперь ее у меня отнимают...

Во время Октябрьской революции кто-то

вызвал меня к телефону. Подхожу. Голос:

— Вы — писатель Серафимович?

— Да.

— Кремль только что взят юнкерами. Ваш сын вместе с другими пленниками поставлен под расстрел.

Я заметался.

— Но я вывел его, не беспокойтесь. Сейчас он в дворцовой канцелярии. Тут другая опасность: было разорвали его дворцовые служители, — их собралось человек сто. Хотел увести его и его товарища к себе на квартиру, не пускают, говорят, — большевиков покрываю. Грозят мне. Я — офицер... Употребляю все усилия...

— Я сейчас приеду...

— Боже вас сохрани... только испортите дело... Я все сделаю, что в моих...

Я судорожно вцепляюсь в трубку, — он перестал говорить. Боюсь выпустить, — последняя нить, соединяющая с сыном... Звоню, куда попало. Потом бросаю — и в Кремль.

На улице — мой мальчик. Нет, это не он, это — чужой: чужое лицо, чужие глаза... Это не он.

Дома рассказывает спокойно-равнодушно, чужим, неузнаваемым голосом, темно усмехаясь.

Их поставили в шеренгу. Приготовили пулеметы. Юнкера вытаскивали револьверы, подносили к лицу его и товарища, долго держали и злорадно смеялись.

— Ну, что, приятно издыхать?..

Подошел донской офицер.

— Ты откуда?

— Я с Дону, донской казак...

Офицер, держа в одной руке револьвер, другой размахнулся и сшиб кулаком сына, потом его товарища — рабочего.

Мимо проходит молоденький офицер, на год раньше окончивший гимназию Адольфа, это сын директора гимназии, Стрельцов, недавно произведенный в офицеры. Он вместе с юнкерами расстреливает безоружных, сдавшихся солдат.

Сын обращается к нему:

— Подтвердите, что я гимназист из гимназии Адольфа.

Стрельцов поворачивается к юнкерам и говорит:

— Этого первого надо расстрелять: он — большевик, и отец его — большевик.

Затрещали пулеметы. Корчась в стонах и крови, попадали солдаты. Иные неподвижно лежали, и пелена пепельности быстро набежала на лица. Незадетые солдаты бросились бежать и рассыпались на площади, прячась, куда попало.

Сын с товарищем рабочим забились за немецкую пушку, все стараясь почему-то одну голову спрятать между спицами колес.

Юнкера опять согнали всех прикладами, штыками и пулеметами. Тут подошел офицер и спас сына и его товарища.

Когда затихла борьба и сын пришел в гимназию, преподаватель истории господин Сыроечковский сказал:

— Зачем вы пришли в гимназию? Разве между гимназией и вами не легла кровь? Вам здесь не место.

Господин Сыроечковский забыл об одном сказать, что и между остальными учениками и гимназией тоже легла кровь — *ни одно учебное заведение не дало столько белогвардейцев, сколько гимназия Адольфа*. Они усерд-

но расстреливали солдат и рабочих. Были среди них отличные стрелки, бывшие на выбор и потом хвалившиеся учителям и товарищам числом убитых.

Забыл господин Сыроечковский сказать, почему это многие ученики гимназии Адольфа после Октябрьской революции скрылись из Москвы и гурьбой отправились на Дон. Отдохнуть, что ли? Господин Сыроечковский, господин Адольф, и вы, господин директор Стрельцов, не скажете ли нам? Что же вы?

Да, забыл еще упомянуть, что господин Сыроечковский — народный социалист, а эта партия, как известно, создана для благочестивых, тихих, богобоязненных людей, чтобы спасти маленькое именьеце, или крохотный капиталец, или домик от революционных посягателей. А тут как раз маленькая земелька, и мужички пахали и кормили святое семейство господина Сыроечковского.

Как просто открываются все ларчики...

Так ли, сяк ли, но учителя, не смея прямо выкинуть ненавидимого ученика, вместе с остальными учениками сделали пребывание его невозможным в гимназии. И в то же вре-

мя директор Стрельцов заявил сыну:

— Я ничего сделать не могу, но твое отсутствие я и педагогический совет будем считать незаконным...

Ну, не Иудушка ли!

А отсутствие ученика Маргулиеса (папаша — крупный купец), явившегося только после рождества? Маргулиес все время был во втором батальоне ударников. Его отсутствие как находите — законным?

А отсутствие тех, что отправились на Дон?

Что же, за ними за всеми аттестаты обеспечены!

— Не так ли, господа?

Справедливость требует сказать, что среди захлебывающихся черносотенством учителей нашелся один, который, отбросив всякую политику, требовал одного — знаний. Это — преподаватель физики и математики.

Эта история является другим концом саботажа школы: тысячи пролетарских детей выброшены учителями-саботажниками на улицу, а дети купцов, банкиров, спекулянтов, нефтепромышленников, заводчиков преспокойно учатся, получают аттестаты с тем, чтоб

разлететься из осинового гнезда по всей России
лютými врагами трудового народа.

Справедливо ли? И почему осиные ядови-
тые гнезда должны быть терпимы?..

КАК МЫ ЧИТАЛИ КАРЛА МАРКСА

Недаром и станица-то называлась Усть-Медведица: медведей много водилось в свое время, медвежий угол, непроходимая глушь, — ни железной дороги, ни парохода.

Старая седая река, а над рекой горы, а за рекой леса, а на горе станица. Жизнь в ней текла медленно, сонно и... страшно.

Нас душили в гимназии латинским, греческим, законом божиим, давили всем, лишь бы задушить живую душу. Всякую книжку по общественным наукам отнимали, а нас сажали в карцер. И были учителя нашими палачами.

Когда мы кончили и ехали в университет, мы наконец вздохнули от проклятой жизни. Хотелось знаний, свободы, хотелось общественной работы, — живые ростки все-таки остались в душе, даже палачи не сумели их убить.

Но в Питере оказалось еще хуже, — стояла удушливая тьма самодержавия и в обще-

ственной жизни и в университете.

Как это ни странно, мы были социалистами. Правда, наивными, невежественными; но постоянно кололо в душе жало, что нельзя жить, радоваться солнцу, деревьям, морской глади, человеческим голосам среди нечеловеческой нищеты, тьмы, нечеловеческих страданий народных.

А жить так хотелось!

Верилось в какое-то чудо: вдруг что-то случится, и все переменится, и придет счастье народное.

Иногда приходило отчаяние, и странной казалась эта наивная вера среди полицейщины, жандармов, шпионов, провокаторов, среди тюрем, ссылок, казней, каторги.

Сердце и глаза жадно искали, на что бы опереться.

Студенты и курсистки сбивались в кружки для самообразования. Попал и я в один такой кружок.

Я в первый раз услышал, что есть наука — политическая экономия, что весь строй жизненный в конечном счете определяется экономическим строением, что существует Карл

Маркс. Невежество тащилось за мной пудовыми гирями.

В кружке решили читать «Капитал» Карла Маркса.

Ну, Маркса так Маркса, — мне было все равно.

Один из старых студентов сказал:

— Что вы! Да разве можно начинать с Маркса, не имея ни малейшего представления о политической экономии? Ведь все равно ничего не поймете, только время убьете. Возьмите любой учебник политической экономии, вызубрите, — ну, тогда, пожалуй, и приступайте к Марксу.

Нас, молодежи, студентов и курсисток, собралось человек пятнадцать.

И начались муки.

И не то чтоб Маркс поразил с самого начала сложностью построений и труднодоступностью. Нет, напротив, в первой главе он сбивал как раз тем, что говорил и растолковывал до смешного очевидные вещи.

«Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая по своим свойствам способна удовлетворить ка-

кую-нибудь человеческую потребность...»

Ну, так что ж? Это я отлично понимаю.

«20 арш. холста = 1 сюртуку, или 20 арш. холста стоят одного сюртука».

И это великолепно понимаю.

Так в чем же дело?

А в том, что каждое слово в отдельности отлично понималось. Слова складывались в фразы — и это понималось. Но когда надо было фразы сцепить вместе в одно целое, все разваливалось, и мы, ничего не понимая, сидели опять у разбитого корыта и мучительно начинали сызнова.

По вечерам чтение продолжалось по пять, по шесть часов, а успевали прочесть полстраницы, а то и того меньше. А когда на другой день приходили — и это разваливалось, и прочитанное опять читали, как новое.

Мне было особенно тяжело — нападала необыкновенная сонливость. Вот сидишь, напряженно слушаешь, во все глаза ловишь движения губ чтеца, и вдруг веки начинают наливать, лицо читающего товарища длин-

неет, длиннеет, делается журавлиным, да и сам он уже не Макарыч, а шпиц на Петропавловской крепости, качается, качается, да как вдруг...

И я неожиданно качнусь на стуле... Да спохватишься, испуганно разинешь глаза и исподтишка оглядишь всех подозрительно — не заметили ли?

И опять напряженно слушаешь, напряженно ловишь слова, и опять наливаются веки, и опять журавли... Всплывает, как был на охоте... Зайцы на задних лапах развесили уши, ухмыляются... И качнешься. Вот мука-то!

Не то Карла Маркса читаешь, не то с журавлями, зайцами сражаешься.

Так тянулось. И если в голове что-нибудь оставалось, так потому, что одно и то же место перечитывали раз по тридцать.

Понемногу слушатели отпадали, переставали ходить, и нас осталось человек шесть.

Мы не могли уйти: железными зубьями нас захватывал и втягивал в изложение Маркс, и уже нельзя было вырваться.

Что же он говорил?

А говорил, что новые ценности создаются только трудом.

Как вы ни хитрите, говорит буржуазным экономистам Маркс, капитал не создает никаких новых ценностей, он только повышает производительность труда. И только труд, живой труд служит мерилom стоимости вещей.

Так, строка за строкой, страница за страницей, Маркс громит буржуазную науку и на развалинах строит колоссальное свое здание.

Мы подвигались. Пропала сонливость. Точно из болота мы вылезали на твердую, незыблемую почву, и кругом стало светлее.

Прежде мы просто сердцем болели за страшную жизнь трудового народа. Теперь мы понимали, какой бы благородный, какой бы честный, отзывчивый человек ни был фабрикант, — а такие есть, — сколько бы он ни строил для рабочих больниц, библиотек, домов, все равно он — хищник, ибо все это делает на прибавочную стоимость, на отнятую у рабочего часть труда.

И мы впервые не только поняли, но и почувствовали классовую непримиримость.

Заставив нас мучительно преодолеть первые трудности, Маркс дальше разворачивался неотразимо увлекательно, как роман.

Как гениальный художник, он рисовал колоссальные, потрясающие картины рабочей жизни в Англии, картины первоначального накопления и железный ход вещей, который неумолимо ведет теперешний капиталистический строй к социалистическому.

И среди мрака царского и буржуазного владычества для нас загорелся вдали ослепительный яркий огонь надвигающегося, и кругом посветлело: явился смысл жить, работать, бороться.

ИЗ МРАМОРА ТВОРЯЩИЙ ЖИЗНЬ

Живописью, картинами русский народ давно украшает стены своего жилища. И в избе крестьянина, и в полутемной комнатке городского рабочего всегда встретишь картины, хоть и лубочные, наивные, но картины.

Скульптуры же русский человек не знает. Вы нигде не встретите у крестьян, у рабочих фигур, вырезанных из дерева или вылепленных из гипса.

Странно это, ибо крестьянство выдвинуло из своей среды скульпторов с громаднейшим талантом.

Во главе их Сергей Тимофеич Коненков.

Двадцать лет назад, окончив московскую школу живописи, ваяния и зодчества, в родной деревне среди дремучих лесов Ельнинского уезда Смоленской губернии, в сарае, работал он свою первую крупную работу «Камобоец». Восемь месяцев работал.

Приходили крестьяне, подолгу стояли, смотрели и удивлялись:

— Ну живой, чисто живой!.. А потом, Тимофеич, он зачнет у тебе сам работать? Камни будет бить? внутре-то машины небось приспособил?

Выставил эту работу, получил серебряную медаль и... и начал голодать.

Буржуазное общество слепо и стихийно. Как и во всем, как и в экономической области, в области искусства оно не умеет планомерно использовать талант и гениальность. Ему подай известность, славу, общепризнанность. Без этого, будь хоть семи пядей, умрешь в нищете.

Судьба «Камобойца» лучше всего отражает судьбу художника. Некуда ему было деть свою работу. Жил в крошечных комнатушках, постоянно перетаскивался из одной в другую. Попросил он знакомых на время поставить к ним своего «Камобойца». Те согласились. Время шло. Коненков бился в нищете. Знакомые переехали на дачу, перевезли и «Камобойца». Потом уехали. «Камобоец» остался. Уходили годы; о нем уже забыли. Дача была перепродана совсем в другие руки.

Случайно на днях нашел брошенным в

течение двадцати лет это произведение в провинции г. Микули и привез к его творцу, огромный талант которого ценою тяжких годов наконец признан.

Только в социалистическом обществе создадутся условия, когда каждый росток таланта будет внимательно оберегаться.

Хотя крестьяне и ждали, когда «Камобоец» сам начнет бить камни, в их среде все же было здоровое чутье таланта; в лесной, по-зверину суровой, строгой и крепкой семье Коненковых никому никогда не выдавалась бумага, которая ценилась в этих дебрях лесных на вес золота, — баловство. Маленькому же пяти-шестилетнему Сереже торжественно выдавался лист писчей бумаги, и вся семья, струдившись, смотрела, как рисует мальчик-самоучка.

А рисовал он так, что, когда приходил поп, семья радостно просила его освятить рисунок как икону.

Поп, сбывчившись, поглядел.

— Нет, не буду святить: дюже морда страшная у святого, — ишь ты, зверь зверем глядит.

Тогда Сережа нарисовал морду полегче,

поп освятил, прибили в угол и молились.

Видно, лесные люди, лесная жизнь, океан шумящих деревьев сделали Коненкова неподражаемым, неповторимым в творчестве по дереву. Под его резцом из липы выходят подлинные живые люди: «Старичок-полевичок», «Старенький старичок», «Стрибог», «Монах», «Нищая братия»...

Да ведь мы их встречали на полях, в лесах, на дорогах.

Надо подойти к удивительным фигурам из мрамора. Что это: блещут ли кристаллы, или играют мускулы. И не теплеет ли это мраморное тело?

И неужели эти изумительные творческие создания все уйдут в частные руки и, может быть, будут увезены за границу? А русский рабочий? А русский крестьянин?

К. А. ТИМИРЯЗЕВ

Московский совет прав: не покормишь, не поедешь. Если хочешь выжать всю полезную работу из общественного работника, не дай ему упасть от нечеловеческой измученности, от полного нервного истощения, от разъедающих болезней, которые если запустишь, уж не подымешься. Дать упасть работнику — преступно.

Много партийных работников стораёт от туберкулеза, от нервного истощения.

Совет открывает санатории для больных, для истощенных, для измученных. Переведет дух человек, и опять с прежней силой берется за работу.

Бывшие князья, бывшие денежные тузы, фабриканты, крупные помещики разбросали по окрестностям Москвы свои великолепные имения, дворцы. Вот их-то совет и обращает в санатории, отдает трудовым колониям подростков, школьным колониям.

В тридцати верстах от Москвы — прекрасное имение бывшего князя, которого убил бомбой Каляев, Ильинское.

Здесь санаторий.

Чудесный воздух. Река. Парк. За рекой широко раскинулся луг — трава по пояс, а за лугом синей стеной сосновый бор — царство ягод и грибов.

Двухэтажный, старинной стройки, помещичий дом утонул в зелени деревьев. Со всех сторон огромные террасы. А с них отлогий спуск в парк, чтобы со второго этажа без лестницы можно было спускаться в парк. Дом очень напоминает огромный волжский пароход. Живали здесь когда-то Огарев, Герцен.

Потом дом был куплен князем. Чем же занимался великий князь?

В промежуток между противоестественными оргиями этот властитель Москвы вырезал из русских и иностранных журналов картинки и развешивал их. Все стены увешаны.

В парке два небольших изящных памятника — гранитный обелиск и мраморный куб. Это уж дело горестной княгини: сдохла сучка Шпуня, и на памятнике начертано золотом: Флоренция 1880 — Ильинское 1895. В бозе упокоился кобель Сыч, и начертано: 1891–1894.

Это — памятники не собакам, а гнилоственному, разложившемуся труп помещицье-царского самодержавия.

Теперь в этих комнатах, от которых веет стариной, уютом, работники революции. Какие измученные лица, с неизгладимой печатью болезней!

И у каждого позади за революционной борьбой чернеют в прошлом бесчисленные тюремные камеры: у кого мрачно подымается каторга, у кого бесконечно расстилаются снежные пустыни сибирской ссылки, у кого туманно-тоскливыми днями теряется сзади проклятая эмигрантская жизнь.

Мы лежим с моим товарищем по комнате на койках, слушаем, как шепчет через растворенные окна дождь в листве, и он рассказывает:

— Из Сибири, куда я попал на поселение, я бежал в Маньчжурию, потом в Японию, потом в Америку. Исколесил я ее вдоль и поперек. Кем только я не был: и на лесных промыслах, и коров доил на фермах, и в тоннелях, задыхаясь, работал, и кочегаром, умирая от жары, был, — не знаю, есть ли профессия,

которой я не испробовал бы. Не одну тысячу километров сделал пешком, месяцами бродил по бесконечным канадским лесам, где лишь лоси, дикобразы да дикие кошки...

Я слушаю, и у меня перед глазами, как роман, переворачиваются страницы.

Мы знаем биографии наших революционных работников с их внешней, формальной стороны: там-то организован, там-то сел в тюрьму, но мы не знаем их жизни во всех ее ярких и многообразных проявлениях и красочной обстановке.

А жаль: так и потухнет невоспроизведенная чудесная полоса русской революционной жизни, и будущему историку достанутся лишь сухие ее протоколы.

— Отчего вы так чутко спите?

— Видите ли, мне пришлось в свое время пробить в коридоре, где были смертники. И вот мы, все товарищи, напряженно караулили их, — не идут ли за ними, вести на смертную казнь. Все ночи напролет прислушивались к малейшему шороху.

И это так и осталось на всю жизнь: достаточно малейшего не шороха, Ю беззвучного

движения, и он уже открывает глаза и внимательно прислушивается, — не ведут ли на казнь. На всю жизнь...

А в парке «в бозе» покоятся княжеские собачки.

В санатории здоровый режим, хорошее питание, своя, не навязанная, не казенная дисциплина. Иногда звучит рояль, женский голос.

Много ребятишек. И эти милые кузнечики вносят ощущение домашнего уюта, несколько не мешая больным.

В отрочестве, в далекой юности, я был страшно религиозен. Часами стоял и мотал рукой перед иконой, и бог, тяжелый, жестокий и несправедливый бог, давил меня всюду, давил мои помыслы, движения, поступки. Стал я почитать Писарева, Чернышевского и других, и как будто покачнули они мою каменную веру.

Но покачнули формально, внешне. А в глубине сидел все тот же мрачный бог и мертво давил юную душу. И не мог я изжить его, избавиться от его каменной тяжести, сминавшей молодые крылья. И это было мучитель-

но.

Попалась мне книга «Жизнь растений». Прочитал ее, не отрываясь, и, когда закрыл последнюю страницу, радостно почувствовал, как мрачно покачнулся и вывалился из души каменный истукан божества.

Но ведь в книге ни слова о боге. Там гениально рассказана с изумительной ясностью внутренняя физиологическая жизнь растения.

Но позвольте, тогда есть конструкция и моей жизни: и моя жизнь, мои помыслы, поступки, порывы зависят от взаимодействия клеточек, так же, как конструкция растения побуждает его тянуться вверх, а не вкось!

Да ведь я сам из таких клеточек. И каменный бог рухнул.

И вот через много, много лет я встретил в Ильинском санатории дотоле незнакомого мне автора этой чудесной книги. Это — профессор К. А. Тимирязев.

У него европейское научное имя. Еще Дарвин указывал на него как на выдающегося молодого русского ученого.

Редкое и драгоценное сочетание: глубокий

ученый, он в то же время удивительный популяризатор. Он сумел научные положения рассказать широкой публике удивительно простым и ясным русским языком, совершенно не подлаживаясь к читателю, а подымая его до себя.

Тимирязев — глубокий материалист; он верит только фактам, только наблюдениям и ненавидит все, что хоть малейше отдает мистицизмом.

Конечно, русское правительство гнало и преследовало такого профессора. Черносотенный князь Мещерский писал в свое время в «Гражданине»: «Разве не возмутительно, что русское правительство на казенные деньги позволяет профессору Тимирязеву ниспровергать бога?»

А профессор Тимирязев нигде не обмолвился словом «бог», но такова разрушающая сила истинной мысли.

После февральской революции профессор Тимирязев, больной, с трудом передвигающийся старик, шел к избирательной урне подавать за номер пятый (за большевиков).

И какой вой поднялся среди московской

профессуры: одни ухватились за живот и покатывались со смеху, другие возмущались с пеною у рта, третьи решили, что Тимирязев сошел с ума, и трезвонили об этом.

К. А. Тимирязев формально не принадлежит к коммунистической партии, но внутренне он целиком идет навстречу всему, что строит большевизм, что строит партия.

Профессор Тимирязев — глубоко искренний человек. И то, что такой человек целиком на стороне строительства коммунистов, показывает всю мелкую, подлую гнусность меньшевистской и буржуазной своры, которые, задыхаясь, неустанно лгут о варварстве коммунистов, об азиатчине и прочем.

— Чтобы судить о людях, чтобы судить об обществе, — говорил он мне как-то мимоходом, — надо посмотреть, как они обращаются с детьми. А вы посмотрите, как здесь, — кивнул он на взрослых, которые шалили и любовно ласкали бегающих ребятишек.

Это крохотное замечание внутренне открыло мне еще раз всего Тимирязева. Еще в семнадцатом году он шел подавать голос за большевиков, когда и речи не могло быть о

том положении для них, какое они заняли теперь. Но и сейчас его зоркий, привыкший к наблюдениям глаз схватывает малейший факт, который служив доказательством верности его оценки и его отношения к большевикам, — он доверяет только фактам.

Климентию Аркадьевичу Тимирязеву семьдесят семь лет, но какой душевной свежестью, какой душевной молодостью веет от этого старика!

— Посмотрите, как чудесно, какой чудесный вид, — говорил он, показывая на озаренные багровым закатом дальние деревни, далеко краснеющий глинистый обрыв Москвы-реки, на багровый бор, точно там вставал огромный пожар. — Такую удивительную картину я видел только за Лондоном на Темзе.

К. А. Тимирязев интересуется всем, что дает художественная литература, искусство. Терпеть не может мистиков, декадентов, кубистов и прочих.

Читает Байрона и приводит интересное место, неизвестное у нас, из одной его вещи. Байрон говорит там о пожаре, охватившем

Москву в двенадцатом году.

И предсказывает: в той же Москве забушует иной пожар, идейный, неизмеримой силы. И могучее пламя его забушует по всей Европе.

Разве не сбывается пророчество Байрона, приводимое К. А. Тимирязевым?

РАБОТНИКИ ЗЕМЛИ СОВЕТСКОЙ

(IX съезд Советов открыт)

Бывают два праздника. Один истертый, безжизненный, когда люди надевают заранее приготовленные одежды, заранее приготовленные выражения лиц, заранее приготовленные чувства. А другой, когда в самой будничной, в самой серой, трудовой и подчас страшной обстановке вдруг придет письмо или известие, и на мгновение все посветлеет кругом, и торопливо и радостно забьется сердце.

Вот на таком втором празднике я и был.

Громадина Большого театра. Весь он снизу доверху залит работниками Советской России.

Приветствия? Но ведь приветствия — это же казенщина, это скучно? Почему же сегодня так жадно их слушают? Так блестят глаза во всей громадине зала, блестят глаза, не затмеваемые блеском электричества?

Потому что впервые приветствуют новые

социалистические, советские республики.

Грузия, прекрасная Грузия, социалистическая, Советская Грузия. Да разве не она при меньшевиках кроваво дралась со всеми, со всеми, кто ее окружал? Разве не она огнем и мечом опустошала свои собственные области? «А теперь, — говорит представитель Грузии, — мы Г представителем Советской Армении, с которой резались грузинские меньшевики, подписали договор о границах, и я, грешный человек, даже и не прочитал его».

Границы тают между пролетарскими республиками. И оттого так празднично в зале.

Зазвучал голос Украины:

— Ох, как врет, как подло, беспредельно нагло, как чудовищно лжет буржуазная печать: и банды заливают Украину, и восстания, и разорение!

— Слушайте, да вы составьте делегацию от иностранных журналов, — страстно восклицает представитель Украины, — пошлите их на Украину, пусть собственными глазами посмотрят и увидят: банды на Украине уничтожены, и уничтожены *самими крестьянами* *незаможными*, производство подымается,

Донбасс оживает.

Взрыв праздничных рукоплесканий. Раздается голос представителя Дальневосточной республики:

— Все мы сделали, чтобы сохранить мир, чтобы избежать кровопролития: сохранили все виды частной собственности, права и владения иностранцев, политическую самостоятельность в отношениях с Советской Россией, созвали Учредительное собрание. И нам было обещано, обещано Японией, что при этих условиях нас оставят в покое. И Япония солгала, нагло, подло солгала. На нас из Владивостока двинулась ничтожная шайка черносотенцев, но, когда наши партизаны бросились, чтобы смести их, за черносотенцами блеснули штыки надвигающейся японской пехоты, которая заняла порядочный кусок республики. И это в то время, когда японское правительство вело самые мирные переговоры с Дальневосточной республикой, чтобы подло отвести глаза.

Чудовищное коварство! В зале потемнело, разлились сумерки и молчание.

И в этом молчании и в этих сумерках вы-

шел на эстраду... японец. И это был японец-коммунист Катаяма. И зал взорвало от грянувших рукоплесканий.

Он заговорил на непонятном, таком чуждом, далеко для уха языке. Но отчего же, отчего так посветлело в зале? Отчего так блестят глаза? Отчего в таком напряженном внимании вытянуты шеи? Отчего праздник снова разливается по залу?

Звучала чуждая, непонятная речь, а каждый отлично понимал: там, в далекой, таинственной, голубой Японии, так же бьются пролетарские сердца, так же жгучи материнские слезы, так же падает кровавый пот с чела замученных рабов капитала.

Что? Два с половиной миллиона пролетариев в Японии?

Ах, не надо, не надо переводить, мы все, все до кусочка понимаем, не понимая слов, не понимая речи.

Что? Пять миллионов пролетаризованных замученных крестьян.

Нет, нет, не надо переводить того, что непонятно для уха, но жадно схватывается сердцем, не надо переводить, что есть две

Японии: империалистов и пролетариев. И от этого стало так ярко, так светло в зале, так празднично. И от этого так дрогнули стены от взрыва рукоплесканий, и я посмотрел вверх: не обвалится ли потрясенный свод.

Вышел товарищ Ленин и стал говорить...

И, как в чудесном, невиданном кинематографе, открылась громадина чудесной картины. Тонко дрожала неуловимая дымка, и в ней простиралась Россия, социалистическая, советская, пролетарская Россия, ободранная, голодная, разоренная, но полная напряжения пролетарских сил, а кругом облегали чудища с огромными кровавыми клыками, с налитыми кровью убийств и грабежей глазами. И они не спускают этих страшных глаз с пролетарской России и оглушительно щелкают кровавыми клыками. Вот-вот надвинутся и растерзают пролетарскую республику, только пойдут гулять по закоулкам клочки.

И вот уж, — выбрасывает вперед руку товарищ Ленин, — пятый год пошел, а кровавые чудища буржуазных империалистических правительств только грозно разевают пасти, а сожрать социалистическую республику,

при всем своем страстном желании, все не могут.

Но почему же, почему?

И тонко дрожащая в дымке картина далеко развернулась в речи товарища Ленина простором. И сколько глаз окинул, открылись заводы и фабрики страны. И зачернелись беспредельно ряды пролетариев. Пролетариат наступил своей бесчисленной пятой на хвост чудовищ, и при всем своем страстном желании они не осмеливаются впрямую и в открытую сожрать пролетарскую республику.

И в этом — все значение, в этом мировой смысл совершающихся событий. И напоминание об этом, как прикосновение к земле, вливает постоянные силы в борющуюся пролетарскую Россию.

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Если на минуту только отойти от громады совершающихся событий, такой громады, что они с трудом мыслимы, так откуда же они взялись? Не с неба же упали.

Ведь было что-то, откуда они так титанически, так неизмеримо выросли?

Было.

Что?

Тяжко, медленно нараставшие экономически-социальные изменения.

Это — стихийный, слепой, железный, мертвый, неотвратимый, вне воли человека, процесс. И в этом темном историческом ходе, как светочи в ночной тьме, горели гении отдельных людей.

Гений Маркса во всю глубину, до дна освещал этот неотвратимый исторический ход. Он этим помог трудящемуся человечеству целесообразно использовать социально-экономическую стихию для построения новой, чудесной человеческой жизни. Это *научное* освещение было чудовищно-гениально. Но для человечества его одного, как оно ни неиз-

меримо, недостаточно.

Ибо мало понять, надо почувствовать.

И вот в разных концах вспыхивали гении, которые озаряли не ум, а *сердце* людское, зажигая жажду свободы, жажду борьбы за свое, за человеческое счастье. Они несли психологическое воспитание. Они зажигали людей огнем поэтического творчества.

К таким светочам принадлежал Тарас Григорьевич Шевченко.

Это гениальный поэт и гениальное сердце.

Оно умело страстно любить и огненно ненавидеть.

Покрывало оно своею кровью, своей жалостью, своей незаживающей болью, своей бесконечной нежностью всех, кто задавлен, кто обездолен, унижен, у кого на руках кандалы, всех, кто потом поливал свой хлеб.

Непрощающе оно было ко всем прямым и скрытым убийцам трудовых масс. Тут это великое сердце не знало пощады; тяжкий, невиданной силы карающий удар разил, не останавливаясь перед дымящейся кровью врага.

АНИСИМОВИЧ

Так мы в 1887 году его все звали в ссылке — Анисимович.

Он был сын своего класса, и все черты, которые выковывают в пролетарии тяжкая жизнь и беспощадная борьба, в нем выступали отчетливо и резко. Та особенная сметка, практичность, которая так характерна для рабочего, пронизывала всю его революционную деятельность, — и оттого результаты ее громадны, несмотря на невероятно тяжелые условия.

В каждом данном случае он был тем, чем требовалось быть: он был ткачом, он был столярком, он был слесарем, он косил с крестьянами, он был плотником, — и каждый раз он работал, как профессионал. Это давало ему широчайшую возможность проникновения в рабочие массы не как агитатору со стороны, а был он там как свой брат, рядовой рабочий, — от этого его выступления производили поразительное впечатление. Оглушительно резкий, чуть с хрипотой, тенор, немного на первый взгляд корявая речь, с постоянными по-

вторениями «это самое», — но почему же она производила одинаково потрясающее впечатление на рабочие массы, где бы он ни говорил? А потому, что из огненного сердца его рвались самые простые, может быть десятки раз слышанные слова, но в его устах — пламенные

После трех ссылок он попадает на юг, и тут начинается невероятно кипучая революционная деятельность и непрерывная звериная охота за ним жандармов и полиции. Отдан был приказ — во что бы то ни стало поймать его и... убить.

Судьба сохранила революционного бойца от подлой руки царского жандарма, но отняла его, точно в насмешку, когда он наконец мог вздохнуть, празднуя пролетарскую победу.

Его нет. Но его пламенное сердце огненно выжгло в истории пролетариата его имя навеки.

КРУЖКОВОЕ ЗАНЯТИЕ РАБКОРОВ

В 1919 году Владимир Ильич Ленин дал задание «Правде»: во что бы то ни стало привлечь рабочих писать в газете. Ленин говорил, что никакое революционное строительство не может быть доведено до конца, если рабочие, не отдельные из них, а всей массой, всей своей громадой не войдут в советскую печать.

Время-то было чрезвычайно тяжелое.

Ленин своим гениальным глазом увидел, что, как бы ни было страшно кругом, а втянуть рабочих в газету надо... И он дал задание газете «Правда» разделить своих сотрудников по районам, по фабрикам и заводам, где мы должны были убеждать рабочих, что надо писать.

Мы отправились. И вот, как сейчас, помню одно из таких моих посещений. Это было, кажется, в Кировском районе, а может быть, и в Бауманском районе Москвы, хорошо не помню. Я да еще один товарищ приезжаем в рай-

ком. Смотрю, сидят человек 25–30 рабочих, смотрят угрюмо, видно, голодные, усталые, измученные...

У нас было определенное задание, пришлось их всячески убеждать, что вот, мол, рабочим нужно писать.

Они сидели молча, слушали, но на изможденных лицах их было написано:

— Да когда же, наконец, вы нас отпустите?

Но вот подымается один рабочий-металлист. Щеки втянулись, глаза запали, от грязи весь черный, и сердито так говорит:

— Хорошо это вам соловьем-то распевать. Вы поди и в гимназиях учились и знаете, как там писать, а я вот возьму карандаш-то, а у меня и пальцы не гнутся. Да еще вот придешь с завода домой измученный, усталый, восьмушка хлеба лежит на столе, лопать хочется, а ее не знаешь, что: целовать, что ли, или глядеть на нее, да и холодно в хате... а вы говорите — писать.

В сущности говоря, положила руку на сердце, прав он был — от первого слова до последнего. Но все же Мы начали им рассказывать о том, как трудно сейчас на фронтах и т. д. Сло-

вом, пели, действительно, соловьем, а на самом деле у нас на сердце тоже щемило, знали, что он прав.

Тогда мы с товарищем полагали, что долго придется дожидаться, пока рабочие, не отдельные, а целой массой, научатся писать.

И вот прошло три года. И в Доме Союзов я смотрел на громадный Колонный зал, залитый рабочими от станка, объединенными в целую организованную армию рабочих-писателей. Их насчитывается по Советскому Союзу до ста тысяч. Это, товарищи, чудо! Когда я глядел на них, то я невольно вспоминал, как мы улещали тех рабочих на собраниях. Вот вам и толстые пальцы, которые карандаш не могли удержать! Стали выходить эти рабкоры и селькоры и рассказывать о своей работе, о своей организации и высказывать свои мысли. Это были здоровые, ядреные мысли, это не те общие места и слова, которые мне раньше, в дореволюционное время, очень много случалось слушать на разных собраниях. Несмотря на страшно короткое время, организация среди пишущих изумительно как хорошо поставлена.

Пишущие рабочие и крестьяне совершенно стихийно, но вполне естественно тянутся друг к другу. В буржуазное время, в буржуазных журналах каждый был сам по себе и каждый друг в друге видел врага, потому что шла жесточайшая конкуренция. А пишущие рабочие... они чувствуют, что им еще надо многому учиться и что между ними нет врагов и конкурентов, а есть друзья и помощники.

И вот на этом съезде и выявилась эта организованность, удивительная спайка. Конечно, рабкоры поставлены в лучшие условия, чем селькоры. У тех это налаживается очень трудно, и нам надо отсюда протянуть им дружески руку и помочь. Это будет иметь огромное значение. Ведь помните, когда началась революция, буржуазия постоянно нам бросала упрек: куда, мол, ваша революция годится, и кровь тут, и ошибки у вас нагромождены одна на другую. Но им тогда резонно отвечали, что революция делается не на паркете и не на бархате, что это — борьба. То же самое относится и к селькоровскому движению. Разумеется, и сейчас среди нас попадаются лица, которые пользуются своим положением

во вред обществу. Такие случаи, к несчастью, встречаются...

Но громадный зал съезда рабкоров переполнен, и в высшей степени отрадно на это глядеть.

Но еще что я заметил, и довольно печальное: рабкорок мало, всего десятка полтора — два. И то из больших городов. Они, видно, рождаются в таких городах, как Москва, Ленинград и т. д., а вот в провинции их совсем мало.

Вы являетесь ласточками весны, так давайте же проторять дорогу для своей сестры по всему Советскому Союзу.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «МЯТЕЖУ» ДМ. ФУРМАНОВА

«Мятеж» — это кусок революционной борьбы, подлинный кусок, с мясом, с кровью. Рассказано просто, искренно, честно, правдиво и во многих местах чрезвычайно художественно.

Перед вами встает страна, далекая страна, о которой мало кто знает, — Семиречье: ее степи, горы, ущелья, горные равнины.

Встают живые люди, расслоенные на классы, национальности. Русские крестьяне, казаки, в силу обстановки, созданной царским правительством, жестоко эксплуатирующие киргиз, несчастных, забитых, замученных, темных и бесконечно нищих. Баи, манапы, киргизские кулаки, мироеды, муллы жадной сворой сосут своих единокровных, держат в железных когтях и непроходимой темноте.

И вот в этой богато родящей, пестрой и сложной стране идет революционная борьба, строительство.

Революционная борьба велась в разной об-

становке, в разных условиях — у Ледовитого океана, в дымном Петрограде, на черноземных центральных равнинах, на знойном Кавказе и в Крыму, в далеком, полном ярких восточных красок Туркестане.

И всюду партия, наша РКП, проявила удивительную приспособленность, гибкость, учет окружающей обстановки, исходя всегда из основных своих, незыблемых коммунистических положений, — и этим победила.

В «Мятеже» удивительно правдиво и ярко даны эти свойства партии в обстановке полуэкзотической, совершенно отличной от нашей российской, не говоря уж об обстановке промышленных городов, где рождалась, росла и крепла партия. Оттого эта книга может многому научить.

Читается с захватывающим интересом, хотя в ней строго вставлены подлинные документы, приказы.

ФЕДОР ГЛАДКОВ И ЕГО «ЦЕМЕНТ»

Я не помню, как и где я познакомился с Федором Васильевичем. Помню только, что при одной встрече он сказал мне: «Александр Серафимович, приходите ко мне, я прочитаю вам мою вещь, над которой сейчас работаю».

Пошел. Он жил в полуподвале один, — семья еще не приезжала. Даром что по-холостяцки, а в комнате было чисто, порядок, даже уют. На столе рукописи, книги.

— Одну минуточку, я только вздую чайку.

Первое, что бросилось, пока он возился с чаем, это — нервное, трепетное напряжение, присущее ему самому, а когда стал читать, это трепещущее напряжение разлилось во всем его творчестве.

Со страниц летели выпуклые, острые черточки, замечания, определения, характеристики, местами, может быть, чуть-чуть более яркие, чем нужно, но я не делал замечаний, чтоб не спугнуть автора. Да и некогда было: на меня наплывало широкое полотно, на ко-

тором мелькали люди, характеры, людские отношения, борьба, события. Опять-таки не со всем я был согласен, но я опять не делал замечаний, чтоб не спугнуть этой страстности творчества, которая пронизывала все его существо и захватывала меня.

Пролетарская литература тогда только нарождалась. Она еще делала детские шаги. В ее рядах было немало попутчиков, которые туго втягивались в круг идей пролетариата. И были, как плевела, вкраплены враги народа.

И вот из этой не сложившейся, не оформившейся еще литературы скалистым углом поднялся «Цемент».

Чем же он так привлек читателя? Широкой картиной реорганизации человека, широкой картиной реорганизации хозяйства. Появился хозяин обобществленного хозяйства — это внутренне преобразующийся пролетарий. Картины, где работает в *своем* хозяйстве рабочий, великолепны в «Цементе». И это *первые* картины в нашей литературе.

Федор Gladков, один из первых организаторов пролетарской литературы, в высшей степени честный автор; то, что пишет, он пи-

шет так потому, что так чувствует, так видит. Он не подыгрывается, ибо ему нет в этом надобности, — то, что он пишет, это кусок его сердца, он выстрадал его еще в своей горькой молодости, в царской тюрьме, в царской ссылке, в незаслуженной нищете, которую навязал ему царско-буржуазный строй. И как же он рад в широких картинах рисовать это великое преобразование людей, преобразование хозяйства, преобразование строя.

Но ведь кто-то организует эти преобразования? Партия... И Гладков удивительно умело рисует значение, влияние партии в небольшом эпизоде: на партийном собрании исключают из партии одного из членов. Он вытаскивает пистолет и молча пускает себе пулю в висок, — без партии он жить не может и не хочет.

У Федора Васильевича Гладкова — тяга к широким картинам, к широким просторам. Но и в отдельных небольших картинах он отличный мастер. Вот, например, «Старая секретная». Да ведь это же прекрасно! Ведь это же мастерство! Но вот странно, критики толкуют, обсуждают его большие вещи, а мимо

таких прекрасных, как «Старая секретная», проходят молча. Товарищи критики, чего же вы молчите? Молчите? Молчание знак согласия: вы неправы.

...Партия высоко оценила творчество Гладкова: на груди его сияют ордена.

Чем же привлекает «Цемент» Ф. Гладкова?

Да ведь это первое широкое полотно строящейся революционной страны. Первое художественно обобщенное воспроизведение революционного строительства зачинающегося быта.

И картина дана не осколочками, не отдельными уголками, а широким, смелым, твердым размахом.

Но в чем же правда этой вещи?

Правда — в простоте, внешней грубоватости, пожалуй, корявости рабочего напора. И говорят-то — маленько лыком вяжут. Правильно: по гимназиям, по университетам не образовывались, самоделковый все народ.

И под этой корявой глыбистостью какой чудовищный упор, — как будто, медленно переворачиваясь, неуклюже скатывается по целине откол горы, а за ней — глядь! — дорога,

как водоем, прорытая. И это — правда, ибо нигде не подчеркивается, а разлито по всей вещи.

И быт новый строят кособоко, по-медвежьи, — слышно, как черепки хрустят, а строят.

Приехал Глеб, плечистый, громадный, приехал из трехлетнего огня пулеметов, шрапнелей, беспощадности, гражданской войны, сгреб Дашу, — ведь это же его *собственная* жена. И очень удивился, расставив впустую руки: она вывернулась, засмеялась — и была такова, вспыхнув красной повязкой. И каким-то иным, незнакомым до этого чувством к жене пронизалось сердце Глеба, чудесным чувством, когда он увидел ее как общественно-партийную работницу.

И что дорого: эта перестройка сердца, взаимоотношений не навязывается в романе, а сама собою ткется в громоздящихся событиях, в нечеловеческом напряжении работы, в дьявольском напряжении борьбы. Глеб и ревнует жену и, как бык с налившимися глазами, готов всадить пулю в противника, — и все-таки его сердце насквозь озарилось неизвестным

дотоле, новым озарением. Новым озарением к Даше, к жене, к милой подруге, к товарищу по работе. Они не анализируют своих чувств, новизны отношений, — они просто борются, работают, живут, любят. И в этом — правда.

И Бадьин, предисполкома Бадьин... Да ведь знакомая фигура. Громадный, чугунный; этого не сдвинешь, и куда идет — проламывает дорогу. Чугунное лицо, чугунная воля. Громада революционного молота выковывает таких. И если Глеб — вспыхивающая революционная инициатива, революционный энтузиазм, пожаром зажигающий, без которого невозможна была бы борьба и победа, то Бадьин — тяжкий многопудовый молот, разрушающий и выковывающий. И такими революция проламывает пути.

И он любит, по-бадьински любит. Бычьи, налитые глаза, бычье сердце, и тяжело бьется во вздувшихся жилах густая темная кровь. Он берет женщин просто, тяжело, мимоходом — не до сантиментов. Он весь в колоссальной громаде работы, которая все покрывает, все собой окупает, оправдывает, и женщина для него — только одно из необходимых условий

работы и жизни: перевернулся и сейчас же забыл.

Только Даша, только милая Даша не может погаснуть в его чугунном сердце и, может быть, против его собственной воли теплится тоненьким ласковым огоньком.

Лишь тонкий художник мог дать удивительно верную психологическую зарисовку: Даша, отчаянно отбивавшаяся от Бадьина, когда спасла его от смертельной опасности, отдалась ему.

А вот великолепная фигура инженера Клейста, надменная, сухая, замкнутая в своем высокомерии; он себя чувствует созидателем, а кругом — невежественные, грубые разрушители, безответственные перед столь дорогой сердцу Клейста культурой. И этот надменный останавливается в изумлении перед чудовищным, грубым, неотесанным рабочим напором созидания. Как в водовороте, подхватило и поволокло бессильного сопротивляться инженера Клейста. И Клейст отдал своим бывшим врагам все свои знания, всю свою культурную силу, отдал за совесть, а не за страх, и стал одним из кирпичей пролетар-

ского творчества. Это — яркая, правдивая история спеца.

Все фигуры в «Цементе» отчетливы, запоминаются, разнообразны, живы.

Гладков сжат, экономен. Нет лишних слов, растянутостей, многоговорения. В своей манере писать он так же суров, как и его персонажи.

Его великолепный пейзаж своеобразен и красочен.

Яркие черты романа с лихвой покрывают, может быть, местами излишнюю приподнятость, цветистую взвинченность диалога. Может быть, несколько сгущена мягкотелость партийных интеллигентов. Не то что они не правдивы, — нет, они яркие, живы, убедительны, но для верности перспективы надо было дополнить фигурой интеллигента крепкой складки, ведь революция ж богата ими.

Но я повторяю, — это тонет в прекрасных, сверкающих образах.

По-своему написан роман, — у Ф. Гладкова свое лицо, ни с кем не смешаешь.

И не странно ли? Критики, которые особенно шумно носились с некоторыми писате-

лями, вредя им этим шумом, проходят молча мимо «Цемент»». Либо, оттопырив надменно губу, глаголют: «Сказать неложно, тебя без скуки слушать можно, а жаль...»

Но читатель, пролетарский читатель произведение т. Гладкова оценил, ибо чует правду, — собираются, читают, обсуждают.

УМЕР ХУДОЖНИК РЕВОЛЮЦИИ

Что от большевика нужно? Чтоб он был закален и тверд, как сталь. Чтоб в принципиальных вопросах он не умел поддаться ни на волос.

Таков был т. Фурманов. Таков он был всю свою молодую жизнь.

Что нужно от большевика? Чтоб он был гибок, как тронутая синью пружинная сталь.

Таков был т. Фурманов. И когда читаешь его «Чапаева». «Мятеж», с удивлением наблюдаешь эту большевистскую гибкость, гибкость во имя спасения революционного дела, удивительную способность учета и приспособления.

Что нужно от большевика? Чтоб он во всякой работе, во всякой деятельности был одним и тем же — революционным работником, революционным борцом.

Таков был т. Фурманов. Он был одним и тем же и в партийной работе, и в гражданском бою, и с пером в руке за писательским

столом. Один и тот же: революционный боец, революционный строитель, одинаково не поддающийся и одинаково гибкий.

И если в гражданской борьбе гибкость его проявлялась в том, что, где нужно, он был великолепный дипломат, — на поле его последнего поприща, в писательской деятельности его гибкость драгоценно проявлялась в другом.

Значимость писателя, художника, творца — не в размерах его дарования в данный момент, а в размерах его роста, в способности его к этому росту. Бывали крупные художники, разом проявлявшиеся, застывшие и умершие как творцы задолго до своей физической смерти. Не таков был т. Фурманов.

Когда я прочитал первые два рассказа т. Фурманова, бледные, серенькие, беспомощные и наивные, я подумал: «Нет, этот не выделится».

Когда я прочитал написанный им в дальнейшем «Красный десант», передо мной вдруг блеснула черная южная ночь, шелест камыша и таинственность смерти, которая невидимо плыла с этими потонувшими в чер-

ноте баржами, — люди плыли на заведомую гибель в самую глубь, в самый тыл врагов, — пощады не будет. И мне вдруг стало трудно дышать. «Да ведь это ж художник!»

А потом я подумал: «Могла просто случайно вырваться небольшая художественная вещь».

А когда я читал «Чапаева», передо мной художественно развернулась гражданская война — так и с таких сторон, с каких и как я не умел ее увидеть своими глазами.

Потом... потом я читал «Мятеж». Я читал всю ночь напролет, не в силах оторваться, перечитывал отдельные куски, потом долго ходил, потом опять перечитывал. И я не знал, хорошо это написано или плохо, потому что не было передо мной книги, не было комнаты, — я был в Туркестане, среди его степей, среди его гор, среди его населения, типов, обычаев, лиц, среди товарищей по военной работе, среди мятежников, среди удивительной революционной работы.

Да, это — художник. Художник, вдруг выросший передо мной и заслонивший многих.

И его гибкость, его драгоценная гибкость

художника — в этом непрерывном внутреннем, органическом росте. В том, что он с каждой вещью, с каждой картиной становился выразительнее, ярче, глубже, больше. И это не случайно: это его природа, это его естество.

...И он ушел. Ушел — и унес с собой еще не развернувшееся свое будущее. Ушел — и говорит нам своим художественным творчеством: берите живую жизнь, берите ее, трепещущую, — только в этом спасение художника. И не бойтесь. Все, что есть старого в писательстве, все, что есть в нем забвенного, все это с кривым лицом бросит в вас обвинение в фотографичности, в мемуарности. Не бойтесь. Выдумку всякий дурак сумеет обобщить, — живую жизнь сумеет синтезировать только истинное художественное творчество.

И еще: истинное творчество тогда не мертво, когда оно глядит на жизнь, на борьбу революционными глазами восставшего класса, а не померкшим взглядом уходящего в забвение.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ДОНСКИМ РАССКАЗАМ» М. ШОЛОХОВА

Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко рассказываемое чувствуешь — перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды.

Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Огромное знание того, о чем рассказывает. Тонкий схватывающий глаз. Умение выбрать из многих признаков наихарактернейшие.

Все данные за то, что т. Шолохов развертывается в ценного писателя, — только учиться, только работать над каждой вещью, не торопиться.

ЕСЕНИН

«De mortuis aut bene, aut nihil» — «О мертвецах либо хорошо, либо ничего».

Так ведь это ж самая буржуазная, самая враждебная пролетариату поговорка, родившаяся в архибуржуазной общественности древних римлян?!

Умер — нет человека, кончилась индивидуальная жизнь. Осталась только общественная его часть, отношения к коллективу.

Как же не расценить их? Не только можно, но и должно. Не для мертвеца — его ведь нет, а для живых, ибо живые строят живую жизнь, анализируя жизнь мертвых. А если так, кому же нужно вранье?!

Если подох кровавый провокатор, неужели о нем молчать или говорить хорошее?

Обычно же человек оставляет после себя для коллектива двойное наследство — и положительное и отрицательное. Так как же тут молчать? А говорить только хорошее, значит, лгать. Нужен общественный анализ, правдивый, а не враки.

Буржуазная оценка мертвецов чрезвычайной

но похожа на буржуазные юбилеи. Сидит со святой рожей истомленный почестями юбиляр, а кругом с восторгом и со слезами целый день несут ахинею и иступленно кадят в самые ноздри и, отвернувшись, измученно отирая пот, говорят вполголоса друг другу: «Вы посмотрите на эту дылду — сидит, как истукан, и все за чистую монету принимает». Вот то же самое и г. мертвыми. Скажите, разве нужно пролетариату это лицемерие?!

Умер Есенин, и пошла писать губерния! Столько наворотили ахинеи (с восторгом и со слезами!), столько лицемерия, столько лжи общественной — уши вянут. Зачем, кому это нужно? Кроме зла, кроме извращенных представлений — ничего.

Кто такой был Есенин?

С огромной интуицией, с огромным творчеством — единственный в наше время поэт. Такой чудовищной способности изображения тончайших переживаний, самых нежнейших, самых интимнейших — ни у кого из современников. И огромная, все ломающая смелость эпитетов, сравнений, выражений, поэтических построений. Сам. Ни у кого не

спрашивал, никому не подражал. За ним ко-
солапо тащились другие, бездарно и убого.

Чудесное наследство.

Кто же такой был Есенин?

Это был несчастнейший человек. Судьба
подарила ему дивный дар, судьба подарила
ему счастье жить в чудеснейшую изумитель-
нейшую эпоху, а он, весь, сердцем, корнями,
думами, любовью, весь, весь в прошлом, в бы-
лом, В прошлой деревне, в былых ее настрое-
ниях, в былом быте, чувствах, мыслях, отно-
шениях, — ужас умирающего прошлого мерт-
венной длинной хваткой тянулся за ним, мо-
лодым, живым, талантливым, творческим,
тянулся и омертвил...

ВЕЧЕРА РАБОЧЕЙ КРИТИКИ

Это были конюшни, и в них стояли лошади великих князей, которые приезжали в модный загородный ресторан по Каменноостровскому, пьянствовали и развратничали.

Теперь стены выбелены белой краской, стоят нетолстые белые колонны — клуб ленинградских металлистов.

Я — за красным столом и смотрю на лица рабочих читателей, желтеющие вплоть до задних окон и боковых стен.

Нет, я не за тем здесь, чтобы прочесть отрывок из своих вещей, раскланяться и уйти.

Ведь дают же отчет перед рабочими массами, отчет о своей деятельности, о своей работе партийные, советские, профсоюзные работники, наши хозяйственники. И разве художник не должен дать отчет о своей деятельности, о своей работе рабочему читателю?

Но почему же раньше об этом никто не заикался? Да потому, что в начале революции было не до того, — бои, голод, разруха. А второе — рабочим массам надо было подтянуться к литературе, да не отдельным единицам,

не тонким читательским прослойкам, а нужно было появление массового читателя.

И он появился, этот читатель, — сотнями тысяч. И он предъявил свое право, право требовать отчета от своего работника в художественной области.

Я стою у красного стола; сотни глаз напряженно не отпускают меня. Мне не нужно излагать содержание своих произведений, — товарищи библиотечные работники союза металлистов организовано, умело и стройно провели подготовительную кампанию. В библиотеках союза — их тридцать — каждый раз, как рабочие приходили менять книги, им предлагали перечитать к вдуматься в произведения писателя, вечер которого подготавливается. Роздали крохотные листовочки-памятки с портретом, краткой биографией, очень сжатой, толковой оценкой. Опрашивали читателей, каково их мнение об этом писателе; причем помечали, какого завода, сколько лет, работник или работница. В «Металлисте» — статьи о писателе и о вечере.

И теперь эти сотни глаз уверенно и спокойно смотрят на меня, — знают, кто я, что

дал и чего от меня можно требовать.

Читатель, рабочий с Балтийского завода, кратко говорит о значении «вечеров рабочей критики». Приглашенный специалист по истории литературы очень сжато дает для тех, кого миновала кампания, мою биографию и характеристику работ.

Потом я рассказываю, как строил «Железный поток». Их все интересует: и какие задачи ставил себе (отразить в эпизоде отношения крестьянства к революционной борьбе — анархическая, беспорядочная вначале масса через невыносимые страдания, кровь, слезы, отчаяние приходит к организованности, пронизанной преданностью советской власти); и насколько близко совпадает изложенное с действительностью; и как я собирал материал (перекрестный допрос участников); и был ли сам в тех краях, знаю ли население, быт, страну; верно ли передал пейзаж.

Указывали на неверности, противоречия: матросы были самой революционной частью прежних войск и в революции самыми яркими бойцами, а у меня — бандиты. Кожух собрался драть солдат за грабеж, а штаб свой,

одетый во все новенькое, очевидно, снятое с грузин, не тронул.

Сыплется ряд вопросов, записок. Устные вопросы товарищи-устроители записывают, систематизируют, чтобы легче было отвечать. Записки нумеруются и тоже систематизируются с исключением повторных вопросов.

В зале с колоннами, наполненном желтеющими лицами, звучит низкий, густой, без напряжения, всюду слышимый, спокойный, уверенный голос металлиста.

— Я, товарищи, представитель литературного кружка...

— Какого завода? — перебивают устроители. Как и в анкетах, здесь заносятся опять-таки незаметно для опрашиваемого все о нем сведения.

— «Электросила».

— С «Электросилы», — несутся, помогая, голоса со скамей.

— Наш литературный кружок поручил мне зачитать наш отзыв о произведениях писателя Серафимовича. Ну, мы читали и обсуждали его «Железный поток» и нашли, что

очень хорошо написан и образы такие, будто сам там побывал и сам все испытал. Ну, только есть одно, и мы это обсуждали; на каждой странице у него мат. Нам и так это надоело, куда ни сунься, все загибают: и на улице — мат, и на заводе — мат, и домой придешь — мат, и в книгу заглянешь — мат. Нам надоела эта чубаровщина. И мы желаем, чтобы в книге этого не было.

Он смолк, тишина наполняла бывшую конюшню с белыми колоннами. Да вдруг сорвался с передней скамейки в линялом пальтишке (а за стенами мороз) и замазанный, видно, прямо с производства.

— Так что, товарищи, неправильно, — заговорил он страшно торопливо, захлебываясь воздухом, — так что неправильно! Ды я сам был на фронте. Дык во, прямо наступают... Схватишься за пулемет, ах тты... заело... — он необыкновенно торопливо, слегка присев, замотал руками над самым полом, с страшным напряжением выправляя заевшую ленту, — ну, никак!! а энти во, тут!.. Ахх тты мм... стало быть, это как даванешь энтим словом, лента сразу на место и...

Он весь изогнулся, страшно вытянул шею, глядя на врага одним правым глазом, и повел над полом пулеметом.

— ...Та-та-та — па-а-бежали! — проговорил он с засветившимся лицом, выпрямляясь.

Зал охнул, все облегченно заворочались и зааплодировали.

Вышел молодой:

— Товарищи, это неправильно тот товарищ говорил, не знаю, как по фамилии, с «Электросилы». Ежели бы автор смаковал, дескать, эх-мма, просто, чтоб подковырнуть, просто для куражу, ну, тогда так... Есть такие писатели, за каждым словом погибает и без всякой надобности, читать противно. А тут сущую правду пишут. Возьмите этих крестьян, которые отступали около моря, — он те загнет без всякой злобы, в быту у него, вот его надо правильно описывать, а то много ли радости в брехне? Крестьянин — как есть крестьянин, ты и пиши.

— Правильно! Верно!

Тогда приходит записка:

«А когда крестьяне, которые в этом походе столько страдали и где через кровь и страда-

ния организовались, опять сядут на землю, будут ли они такими же организованными или опять обрастут самоварами?»

Да, рабочие в художественном производстве ищут не только удовольствия, отдыха, но и учебы, разрешения социальных, экономических, бытовых запутанностей.

И когда кончился вечер, рабочие настойчиво и сурово выносили:

— Писатели должны дать нам такую же широкую картину нашей жизни, быта, как мы работаем, обращаемся с женами, детьми, как выпиваем, чего мы добились, — такую же широкую картину, как те, где описывается крестьянство.

В Ленинграде эти вечера проходят наиболее умело, организовано. Но и на вечерах в Москве, в Харькове, хотя там и не так стройно, рабочие предъявляют свои читательские требования.

«Пишите понятно, а то у вас не русский язык, а какой-то бестолковый». «Пишите про рабочих, а то все про крестьян». «Очень короткими строчками пишете, не успеешь раскусить, глядь, ан она уже кончилась, и не по-

нял». «Нам нужно большие книги, — взял человека с начала и веди его до конца. А то что тоненькие, — и обернуться не успел, а конец. Так мы лучше старых будем читать».

Наконец, наконец-то создается широкая читательская среда для писателей — своя классовая среда, без которой жизнь и здоровое творчество невозможны.

ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ

Товарищи, перед вами часто выступают с отчетами политические и общественные работники, хозяйственники и др., и вы контролируете их работу, указываете на их ошибки и всегда держите их, так сказать, под своим контролем. Но вот впервые перед вами с таким же отчетом выступает художник-литератор.

Может быть, вам покажется странным, как это литератор будет давать отчет.

А вот буржуазия отлично знала, что нужно художника держать под таким же контролем, под каким она держала своих общественных и политических работников.

В дореволюционное время буржуазия влияла на литературу и прямо-таки требовала от писателя тех или других тем. Конечно, это влияние проводилось очень тонко. Не надо себе представлять дело так, что вот буржуазия приходит к художнику, берет его за горло и говорит: «Пиши, мол, о том-то и о том-то». Картина была другая; вот пишет человек о крестьянстве, а критика говорит: «Мужиком

заполнили всю литературу, в литературе дегтем воняет, пора наконец кончить», — и буржуазный читатель не читает и не покупает таких книг.

Рабочие и крестьяне и темны были и безграмотны, царь их накачивал водкой, они поддержать близкого им писателя не могли. И получалось: писатель вертится-вертится, и приходится ему в конце концов писать о высокой любви, о том, как «она» и «он» сидели на бархатном диване, о том, какие утонченные и сложные были у них переживания и т. д. Так буржуазный читатель создавал нужную ему литературу.

В начале нашей революции глубоко треснула русская литература, и у вновь поднявшегося класса почти ничего не осталось. Отдельные одиночки-писатели были, появилась и масса начинающих, зачастую малограмотных писателей из рабочей и крестьянской среды, а литературы не было.

Почему? Да потому, что для создания литературы недостаточно иметь писателей, — нужно, чтобы эти писатели имели поддержку, имели идейное питание, а такую поддерж-

ку, такое питание может дать только класс. Но прежний класс, питавший свою литературу, великолепную литературу, мировую, сошел со сцены, а пришедший к власти пролетариат в этом отношении не успел организовать с самого начала. И хотя появились отдельные писатели, они еще не окрепли, масса рабочих не могла им создать той питательной среды, в которой они могли бы жить, развиваться и художественно расти.

Вот вы только первый раз собрались в этот зал, чтобы проверить художника, как он пишет, как он работает, как он выполняет задания своего класса. А вот раньше вы не собирались. А писатель вне своего класса существовать не может: он хиреет, сбивается. Это мы видим на примере некоторых наших писателей.

Эти писатели погибли, как только они отошли от рабочей массы; так и пошло одно за другим: ушли из партии, чтобы уж заодно партийная работа не мешала писать, порвалась у них связь со своим классом, с партией — и стали они хиреть.

Итак, в начале революции пролетариату

было не до литературы, во-первых, — а во-вторых, тогда у массы пролетарской не было подготовки, не было пролетарской литературной среды, и поэтому было чрезвычайно трудно работать пролетарскому писателю, было почти невозможно расти пролетписательскому молодняку.

И вот только теперь собрались рабочие читатели и позвали к себе писателя, стали писателя контролировать.

Теперь разворачивается целая полоса бесед читательской массы с писателем. Подобные собрания происходят в Москве, в Харькове.

Стало быть, это не искусственное и не единичное явление, а это общее явление. Эти вечера показывают, что поднимается рабочий класс в массе, что в массе его вырастают читатели-критики, что уже настало время, когда рабочий класс почувал силу создать свою литературу, направлять ее, корректировать ее, — словом, дать ей жизнь.

Конечно, процесс этот совершался медленно, но совершался непрерывно. А теперь мы сразу увидели его потому, что он всем бросается в глаза.

У меня лично слабые внутренние связи с пролетарским читателем были и раньше, но этих связей, которых часто даже не проследишь, было недостаточно; не было у меня раньше прямых видимых связей, и только теперь они устанавливаются.

Только теперь класс стал забирать писателя под свой контроль, и теперь пролетарская литература с новым успехом начнет развиваться.

Это, милые товарищи, не беда, что сейчас нет таких звезд, какие были раньше среди буржуазных писателей. Ведь за буржуазной литературой — столетия, а революционному пролетариату, как строителю своего государства — без году неделя, десять лет всего! Но тяготение пролетариата к созданию своей литературы так же бурно, как его тяготение к переработке всех общественных отношений, всех областей хозяйства. Вот и не беда, что пока нет у нас такой блестящей литературы, как в старое время. Важно, что мы над нею работаем, — значит, она будет.

Товарищи спрашивают меня: «Что дают вам вечера рабочей критики?»

— Очень много, очень много, очень много! На этих вечерах я встретил своего читателя, я почуял связь с ним, я, так сказать, поглядел на него, я выслушал его требования, я выяснил ту правку, которую он вносит в мою работу, и это для меня, как для работника пролетарской литературы, драгоценно.

Это как раз и есть та смычка писателя с читателем, которая заставляет писателя расти, которая наполняет его нужным классовым содержанием, которая дает ему классовую директиву. Все, что вы говорите мне, я продумаю, и скажу вам прямо, в чем вы меня двинули вперед, а в чем вы и сами ошибаетесь.

Пролетариат уже научился выковывать себе работников в военной области, в области политического руководства, в области хозяйства, и вот наконец наступило время, когда пролетариат делает усилия, чтобы и в области художественной выковывать своих работников и влиять на тех, которые остались нам от прошлого. Такие вечера в известной мере также помогают выполнять эту задачу.

Один товарищ здесь спрашивал: почему в нашей литературе жизнь рабочих не описы-

вается, почему не описывается работа на заводе, отношения рабочих друг к ДРУГУ, отношения их ко всему окружающему.

Правильно товарищ делает это замечание.

Нужно показать рабочий быт, а до сих пор этого не было сделано. Нет ни одного, в сущности, произведения, где бы жизнь рабочих во всех ее проявлениях была ярко дана.

В старой литературе чудесно дана жизнь помещиков, жизнь буржуазии, жизнь интеллигенции, а жизни рабочих нет ни в прежней, ни в нашей литературе. Показан разве только крохотный, маленький осколочек, да и тот очень не типичный.

Причины этого явления лежат глубоко. До революции писатели жили в буржуазном обществе, в интеллигентской среде. Эти писатели крестьян еще могли наблюдать: они ездили в деревни, либо на дачу, либо к помещику репетитором и видели, как живут крестьяне. Приедет писатель в деревню, видит: солнышко светит, пойдет гулять, к крестьянам зайдет, молочка попьет, с крестьянином потолкует. А к рабочему в подвал писатель не ходил: там негде гулять, там сливок не покуша-

ешь. А на фабрику до революции, если бы и хотел писатель, нельзя было попасть: сию же минуту загребут.

Поэтому-то вся русская литература и была оторвана от рабочих, особенно от заводских и фабричных.

Теперь же дело в том, что за десять лет советская литература просто не могла перестроиться; она перестраивается, но очень медленно, сравнительно с запросами. Вот чем объясняется, что даже пролетарские писатели или совсем не уделяют места описанию быта рабочих, или уделяют очень мало.

Вы задаете мне вопрос: почему вы, писатели, наш быт не описываете? Этим вы нас, художников, толкаете на определенную работу, этим вы до известной степени осуществляете тот контроль, о котором я говорил.

Теперь этот контроль рабочих-читателей разрастается, собираются читатели и дают директивы, задания писателю. И я думаю, что этим путем художника и можно привлечь к быту, к жизни рабочего класса.

Я думаю, что жизнь рабочих глубоко и всесторонне будет описана прежде всего самими

рабочими, когда они создадут писателей из своей среды.

Я, грешный человек, думаю об этом написать, но, признаться, написать очень трудно. Не трудно написать, как за станком стоит рабочий, можно описать и семейную жизнь рабочих, но теперь этого мало. Теперь нельзя давать отдельные картины, как бы они ярки ни были: они потеряли свою ценность. Теперь нужно дать большое полотно, нужно жизнь рабочих связать со всем теперешним строительством. Такое произведение должно говорить не только о жизни рабочих, но связать эту жизнь со всеми жгучими вопросами нашего времени, а это страшно трудно. Это неизмеримо труднее, чем было дать «Железный поток». Трудно потому, что люди изменяются чрезвычайно быстро, изменяется и характер событий, постоянно сталкивающихся. Из этих столкновений тысячи противоречий вылезают.

Возьмите дореволюционный быт рабочих: этот быт был определенный, устоявшийся. Посмотрите на рабочий быт теперь: сколько в нем расхождений и противоречий, которые

объясняются сложными внешними причинами, глубокой социальной перестройкой.

В Москву я повезу от вас наказ себе и всей пролетарской литературе. Правильны ваши слова. Надо наконец, взять эту почти нетронутую, невспаханную черноземную землю — рабочий быт и рабочую жизнь. Я сказал, что у меня нарастает потребность отразить рабочий быт в большом художественном произведении, назревает она и у других пролетарских писателей, я это наблюдал. Сегодняшний вечер меня особенно на это наталкивает. Попробую написать из рабочей жизни и строительства, а уж что выйдет — не знаю.

Товарищи! Здесь многие касались болезненного вопроса об отрыве писателя от рабочего читателя. Да, мы оторваны, и это для нас — самая опасная вещь.

И отрыв этот есть не только у старых писателей, связанных с прошлым, но и наша молодежь в значительной мере страдает этим. Вопрос этот очень болезненный, для писателя такой отрыв очень опасен, ибо если такая оторванность вклинивается в его жизнь надолго — он мертвый писатель, он ни для читате-

для, ни для рабочего класса совершенно не нужен, ибо жизнь-то ведь идет, строится и строится обновляющимися, растущими людьми, и как только писатель оторвется от этой жизни, сядет за стол и начнет высасывать, — с этих пор он и становится никому не нужным.

Я повторяю, что этот вопрос очень сложный, и я останавлиюсь только на одной стороне этого вопроса.

Я думаю, что и читатель мог бы в этом деле помочь писателю, сам читатель мог бы до известной степени выправить положение, — и вот это сегодняшнее собрание — это кусочек такой выправки. Но читатель может еще и в иной форме к нам подойти. Прежде всего, товарищи, не нужно смотреть на писателя как на икону, как на что-то такое, чему нужно удивляться. Мы, писатели, из такой же кожи сшиты, как вы все, и простое, товарищеское, самое обыкновенное отношение — оно для нас чрезвычайно важно. Читатель, как только он встречается в той или иной форме с писателем, должен ему говорить, что он находит у него верного или не верного со своей точки зрения: мало этого, он должен идти к

нему со своими запросами, со своими размышлениями, со своей оценкой жизни. Конечно, самый правильный путь связи с читателем заключается в том, чтобы писатель работал среди масс, но это не всегда осуществимо, и поэтому мы должны устанавливать смычку писателя с читателем всяческими путями и фермами.

Товарищи, массовый читатель подходит с разными требованиями к писателю. Одни, например, говорят, что вот «Цемент» Гладкова — великолепная вещь, а другие говорят: ничего не понимаем, потому что язык трудный. И это не только к «Цементу» относится, но и к другим вещам. Как разобраться в этих противоречивых отзывах?

Читательская масса не одинакова, в ней есть, несомненно, разные прослойки: это — один момент, который объясняет эти противоречивые отзывы. А другой момент состоит в том, что нельзя заставить писателя, чтобы он держался только старых форм. Язык — ведь это живая штука, ведь он развивается, поэтому появление новых форм — это неизбежное движение жизни. Конечно, и тут есть уродли-

ности, как и во всем, но это читатель должен отметить, он должен сказать: «Да, здесь форма, стиль растет, а тут коряво, тут неправильно».

Итак, я думаю, что нельзя предъявлять общих требований, а тут нужно известное деление. Вы посмотрите, как ни гениально просто писал Толстой, но и он проводил такое деление. Ведь, скажем, он дал «Войну и мир», «Анну Каренину», а в то же время он для крестьянина написал гениальные по форме, но уродливые по идеологии маленькие вещи, например «Два старика», «Трое нас, трое вас» и т. д. Он чувствовал, что пока рабочая и крестьянская масса культурно не поднимется и в целом не будет предъявлять одинаковых требований писателю, приходится в известной степени идти навстречу различным слоям. Это остается верным и для нашего времени.

Но тут горе вот какое: писатель думает, что ежели он пишет большой роман или рассказ для толстого журнала, то это и есть художественная литература, а если он пишет для крестьянок и работниц, которые только начинают читать, так это какая-то черная работа, которую приходится поневоле делать. Такое

отношение — глубочайшая ошибка.

Толстой над своими крохотными вещами работал с большой тщательностью, и у него получались истинно художественные произведения, а мы, работая над такими вещами, халтурим, мы стремимся поскорее их сделать да с рук сбыть. Вот тут ваше дело, читатель, нас одернуть и потребовать, чтобы мы одинаково, с одинаковым творческим напряжением работали над романом и над такими крохотными вещами, которые писатель дает для начинающего читателя.

ОТКУДА ПОВЕЛИСЬ СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ

Пришел Октябрь. Задымилась Москва. Запыхали орудия.

Пулеметы, дробно перебивая друг друга, зататакали бездушно и суетливо. Юнкера стреляли из окон, с крыш. Рабочие и солдаты в одиночку и группами проползали к воротам, к подъездам тех домов, откуда стреляли юнкера, притулялись в уголку, терпеливо ждали и винтовкой или маузером снимали неосторожно высунувшегося врага.

Но и юнкера не дремали и иной раз били наверняка, и долго у ворот или подъезда, свернувшись, серела или чернела на застывающей октябрьской земле неподвижная фигура в заношенном пиджаке, пока в темную, холодно моросившую ночь не пробирались товарищи и не уносили тело.

Так тянулись мутные дни и сырые ночи.

И вдруг все смолкло, и потекли по улицам толпы победившего пролетариата. И было голодно, и было холодно, и хрустела под ногами

отбитая штукатурка, и не было одежды, но закипела работа. С ввалившимися лицами рабочие среди развалин, саботажа, заговоров, подпольной злобы воссоздавали организации, учреждения, здания, снабжение, школы, лекции, санитарию, печать, литературу — среди чудовищной разрухи. И литературу...

Да надо создавать печать свою, литературу свою...

Московский Совет поручил мне издание журнала. Трудно было. Представители старой литературы отвалились. Новых не было. Да и не до литературы было — голод, холод, неукротимая борьба. Сидел я на пустом месте и с отчаянием выискивал, чем наполнить журнал.

И тогда пришел солдат. Рваная шинель, и был он испитой и замученный. Лицо ввалилось, да и лица-то не было, бескровное, землистое, — были одни глаза. Светились они, — и я не мог разобрать, — не то лихорадкой, не то неизбывным горем, не то неуместимой безбрежной радостью.

Ах, да что это! Как будто уж некуда, — как будто расплескивался этот блеск, и не было

человеческих сил удержать его.

— Садись, товарищ.

Он сел на краешек стула, обдавая меня, заливая комнату все затопляющим блеском лихорадящих глаз... И протянул конфузливо:

— Вот, товарищ... тут про окопы... стало быть, как мы...

И мне вдруг показалось — чуть-чуть померкли глаза. Я с трудом разворачиваю вдоль и поперек свернутый серый оберточный клочок и с величайшим трудом не столько разбираю, сколько догадываюсь по этим во все стороны расползающимся кривулям. Ничего не разберешь. Чую только — окопы, ахвищеры, деревня, сынок Ванюша...

И мне стало жаль его. И я сказал:

— Товарищ, я напечатаю ваши стихи. Только... вам подождать нужно, а то материалу много... так по порядку...

И комната, и я, и он сам, мы захлебнулись горячечным блеском его глаз и неудержимой улыбкой морщинами. Он радостно поднялся:

— Ффу-у!.. Ды я хучь год!.. Сами понимаете — хлебнули всего... теперича в деревню...

А на завтра пришло двое. В таких же потре-

паннных шинелях, в рваных сапогах, замороженные.

— Во, товарищ... може, напечатаете?

И так же долго разворачивали много раз сложенную оберточную бумагу. Так же с величайшими усилиями едва можно было расшифровать чудовищные каракули.

А потом стали ходить рабочие, с ввалившимися голодными лицами, отрепанные и с блестящими глазами.

А потом меня пригласили в Московский Совет.

— Вот, товарищ Серафимович, вот нам присылают каждый день, — по двадцать, по тридцать стихотворений присылают. Есть и рассказы, но в подавляющем большинстве стихи. Вот мы их и собираем.

На полу лежали наваленные тюки, перехваченные шпагатом.

— Не используете ли хоть что-нибудь? Ведь это первые попытки освобожденного народа. А?

Я порылся. Из сотен, из тысяч можно было взять одно, два, да и то с переделкой. А стихи текли и текли неудержимым потоком, как

будто прорвало плотину.

Я ахнул. Да ведь это же не стихи! Это — неудержимый, неостанавливающийся вопль... Неугасимый голос слез, отчаяния, ужаса и вместе радости счастья, безмерности надвигающегося. Это — радостный крик людей, глянувших из сырой задыхающейся могилы, — и вдруг блеснул просвет чуть приоткрывшейся судьбы.

А теперь в поездках моих в каждом городе, в каждом городишке, в глухой станице я встречаю кружок пролетарских писателей. И в провинции, если только есть газета, так в ней непременно литературная страничка местных, своих писателей. И газете уже не нужно кланчить и выпрашивать у центра литературный материал. И посмотрите, какая у них идет работа! Как тянутся они к мастерству!

И разве пролетарский молодняк не начинает наполнять журналы в центрах? Разве читатели не повернули головы к «Разгрому» Фадеева? Разве широко размахнувшийся красочный и углубленный Шолохов не глянул из-за края, как молодой месяц из-за кургана,

и засветилась степь? И разве за ними шеренгой не идут другие? И ведь это все комсомол либо только что вышедшие из комсомола.

Да, когда-то дикий, нераспаханный чернозем, захлебнувшийся воплем — стихами. И из него за десять лет густо, как озимь, — молодая поросль творчества, пронизанная наливающимся мастерством. За десять лет!

Послушайте, — ведь этого же нет ни в одной стране!

ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ

Некоторые— хозяйственники на наших фабриках и заводах долго и упорно относились друг к другу по старинке, как относились друг к другу в буржуазное время: тогда каждая фабрика караулила другую, чтоб та не пролезла в ее производство, не подметила ее методов улучшения, ее производственных находок. Такое отношение в те времена было неизбежно, ибо для фабриканта было вопросом жизни и смерти сожрать своего конкурента, ибо каждый был за себя, а только лживый и кровавый бог — за всех.

И только теперь наши хозяйственники медленно освобождаются от таких волчьих отношений, часто под давлением рабочих масс, ибо спасение и жизнь ныне — только во взаимно согласованных усилиях, в коллективном строительстве.

Но отчего же у писателей по старинке? Отчего писатель забивается в нору, и там в полутемноте совершается творческий процесс его производства? Редакция «Октября» предлагает писателям: давайте время от времени

сходиться вместе в отделе «Записки писателя», сходиться так, как сходятся теперь красные директора, и делиться опытом, методами работы, производственными находками.

Какой смысл?

Огромный. Читатель растет не только на готово поданном ему произведении, но и наблюдая самый процесс художественной стройки. И молодой, начинающей писательской поросли это поможет.

Только — выходить не в плаще, ниспадающем небрежно с плеча, не в шляпе с великолепным пером вдохновения, а попросту, в рабочем костюме.

У меня покои веков плохая память и на события и на лица, — я близорук. Но я был горд и не вел никаких записей или очень редко записывал. «Кто записывает — это канцелярист, а не писатель, он раб своих записей, они его съедают, он теряет способность к синтезу, утопая в сыром материале». Нет, я не записывал, — я брал все типичное из головы и строил.

Давно это было, задолго до революции. Заходит ко мне знакомая курсистка и рассказы-

вает:

— Вчера я была у Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. Студенчество делегацию к нему посылало. Наши курсы выбрали меня в эту делегацию депутаткой. Приходим. Подождали немножко. Выходит Лев Николаевич. Не пригласил сесть. Каждому подал руку. На каждом лице на долю секунды задержал острый, колющий взгляд из-под насунутых бровей. Нас было двенадцать человек. Студент сказал короткую приветственную речь. Лев Николаевич поблагодарил и, такой же нахмуренный, повернулся и ушел, — видно, от работы оторвали. Пробыли мы у него минуты четыре.

Ушла курсистка. Время побежало. Время от времени мы с ней встречались. Года через три она уже кончила.

Как-то зашла и среди разговора, перебив его, она, странно взбудораженная, стала рассказывать:

— Можете себе представить, ведь я опять попала в делегацию к Льву Николаевичу — студенческая. Делегация вся новая, за исключением меня. Повторилось то же самое, что

три года назад. Ему нездоровилось, а отказываться не хотелось. Вышел, насупленный, на минутку, сесть не пригласил, чтоб не задерживаться, каждому подал руку, на крохотную долю секунды каждого кольнул глазами и вдруг странно забеспокоился, больше насупился и еще раз остро пробежал глазами по лицам. И, перебивая скороговоркой говорившего приветствие студента, с тем же напряжением беспокойства и сердитостью в глазах, точно он торопливо что-то разыскивал в голове и никак не мог найти, сказал, обращаясь ко мне:

— Мы с вами будто встречались где-то?..

— Да, Лев Николаевич, я у вас была три го...

— А-а... да, да... помню... помню...

Попрощался и ушел. А у меня ноги задрожали от испуга. Понимаете, человек раз в жизни долю секунды скользнул по лицу другого человека, да еще в этой мимолетной обстановке встречи надоевших депутатий, — и это лицо отпечаталось в мозгу. Через три года! А за эти три года перед его глазами тысячи людей прошли. Через три года опять в мимо-

летней встрече, да еще среди девяти новых человек — нас было всех десять — он полез в свою память и вытащил этот отпечаток... Ведь это же почти нечеловеческая, противостественная память.

— Ну, что же, стало быть, судьба расщедрилась: подарила гений и изумительную память.

Через несколько лет мне показали... записную книжку Льва Толстого. Оказывается, записывал.

Поразила запись: «Белый с черной оторочкой чибис пролетел и опустился». Да ведь он тысячу раз видел так характерных для степи птиц — чибисов.

Так зачем же он записал? Ясно, что тихо севший чибис с траурной оторочкой — это только крохотный кусочек, от которого разворачивалась в его воображении, быть может, огромная картина пережитого настроения, встречи с людьми, картина событий, воспоминаний. Записанный чибис — это тоненький конец, за который если потянешь — развернешь целую картину.

Я пошел, купил себе книжек и стал запи-

сывать. Уж если Толстой с его чудовищной памятью записывал, так мне и подавно.

Но оказалось, — это не так легко. Конечно, просто наворотить в книжку все, что видишь, но ведь под этой грудой записей задохнешься. Очевидно, надо выбирать, очевидно, надо научиться записывать.

И я стал учиться. Я стал учиться записывать в книжку.

Надо выбирать для записи *самое главное*, *самое* типичное. А что самое главное? Я стал присматриваться: у Толстого записи — одни, у Чехова — другие, у крестьянского писателя — третьи, у пролетарского — четвертые (если он хотя бы в известной степени высвободился от давящего влияния великих писателей, откуда технически мы все тянемся).

У каждого *самое главное* — свое.

И чибис страшно характерен для Толстого. От чибиса, от светлой птицы, потянулись бескрайные картины толстовских полей, пашен, деревенского быта, помещиков и помещицкой жизни. В этом маленьком чибисе весь необъятный Толстой.

У него есть городская запись: «Женщин из

публичных домов согнали выбирать траву, которая с неудержимой весенней силой пробивается между камнями мостовой». «Воскресенье» и начинается с этой картины. И тут, в этой коротенькой записи — весь Толстой, все его отношение к городу, отношение вражды и ответственности.

У Чехова много записей смешных людей, смешных фамилий, смешных событий — все, что характеризует мещански-уродливое искривление жизни, интеллигентскую изломанность, бессилие.

У каждого писателя записи определяются всем его внутренним писательским строем.

Я оглянулся: у меня либо никаких записей, либо случайные и хаотические.

Я много писал о трудовой жизни, о труженниках. Но как мало у меня индивидуального разнообразия! Живо только конкретное, а конкретное берется только из жизни — это *единственный источник*.

И я стал учиться и до сих пор учусь. Учусь организовано схватывать наблюдения, схватывать то, что есть самое главное для моего писательского строя.

ТИССА ГОРИТ

Быть может, мало произведений оказались столь нужными, пришлось так ко времени, заполнили столь огромную нужду знать, что происходит, как помещенное в «Роман-газете» произведение венгерского коммуниста Бела Иллеш «Тисса горит».

И это не столько потому, что мы о венгерской революции ничего не знаем (а знать мы обязаны), сколько потому, что в венгерской революции удивительно типично в чистом виде расположились классовые силы. А Бела Иллеш четко сумел отразить эту расстановку, точно перед вами расстилается историческая шахматная доска и вы своими глазами следите за всеми ходами классовых сил.

Экономно, сурово-сжато вводит читателя Бела Иллеш в самую гущу революционных событий.

Венгерским революционерам-большевикам некогда пить, некогда поесть, некогда хоть на минуту завести воспаленные глаза, чтоб ухватить крохотный кусочек сна в сутки, ибо с безумной быстротой несутся истори-

ческие события.

Западная художественная литература не знает социально-революционного романа нынешней эпохи, не знает широкого полотна *реалистического* воспроизведения кипящей революционной борьбы.

Есть два произведения, которые подошли к этому типу романа: «Джимми Хиггинс» Синклера и «В огне» Барбюса. Но каждый из них изобразил по одной половинке революционного процесса: Синклер — широко общественные события, но, в сущности, не дал живых людей; Барбюс огненно зарисовал тончайшие человеческие переживания, из которых вырастает революционная борьба, но у него нет полотна революционно-исторических событий.

Бела Иллеш сумел объединить то и другое. У него живые люди, живые большевики раскрываются в самой ткани разворачивающихся исторических событий.

Венгерских большевиков видишь глазами, их чувствуешь. Как будто давно с ними сталкивался, давно их видел. Их корни тянутся из семьи, из окружающей обстановки, из друж-

бы, из классового происхождения. Их живыми видишь в разных изломах событий и борьбы, — это не трафаретные фигуры в кожаных куртках с стальными глазами.

И, дополняя картину расстановки сил, живым рисунком выделяет Бела Иллеш в ткани пронсящихся событий то, что всюду противостоит большевикам: гангрену рабочего класса — социал-демократию.

Неумолимо, шаг за шагом, раскрывается беспредельное меньшевистское предательство революции. И тут чувствуешь, это — не венгерские только меньшевики, это — меньшевики, это — социал-демократы как тип; это — мировые предатели, предатели по самой своей внутренней конструкции. Это — предатели за совесть. Если бы и хотели, они не могли бы быть (во всей своей массе как тип, а не отдельные исключения, которые только подтверждают правила) — они не могли бы быть иными. У них самая внутренность глаза устроена предательски, — революцию, рабочий класс, взаимоотношения пролетариата и буржуазии они видят наизуот: защищая пролетариат, они видят его с точки зрения

буржуазии. Оттого они так долго слепят рабочих; оттого они так долго его предательски предают.

И эта внутренняя конструкция, этот мировой тип защитника — предателя жизни, счастья, революционной борьбы пролетариата разворачивается в романе «Тисса горит» с неодолимой силой. Это оттого, что разворачивание происходит органически в самой ткани грандиозных революционных событий.

Разве мало было фактов и статей о бесконечном предательстве социал-демократов, то есть меньшевиков? Но эти статьи берешь умом. А в «Тисса горит» воспринимаешь социал-демократическую натуру нутром, чувством, сердцем, и оттого закипает безудержная ненависть, которая родит борьбу и беспощадность.

И в этом громадное значение вещи.

Написано сжато, убыстрение, — тут чувствуется городская интенсивная культура, та интенсивность культуры, к которой с такой быстротой идет тяжело перекованный революционной борьбой пролетариат Советского Союза.

Реалистов-писателей в Венгрии не было, были романтики. Бела Иллеш не у кого было учиться в родной литературе. И он воспитался на русских реалистах — дореволюционных и нынешних революционных — и на немецких. «Тисса горит» — первое художественное полотно западной литературы, в котором — живые большевики.

Роман написан на венгерском языке, потом переведен на немецкий, а с немецкого — на русский. Нет переводчиков, знающих одинаково хорошо и венгерский и русский. Этот трехэтажный перевод сказывается на вещи.

«Тисса горит» — только первая часть разворачивающихся революционных событий в Венгрии.

Автор романа «Тисса горит» — коммунист, венгерский эмигрант. На фронте империалистической войны из русских окопов в венгерские окопы, заражая, текли большевистские листовки, брошюры. Эти брошюры жадно подхватывались венгерскими солдатами. Солдат отдавали под суд, суд давил вплоть до расстрела, но рабочие и крестьяне в гимнастерках заражались большевизмом все боль-

ше и больше, и имя Ленина не сходило с уст.

Бела Иллеш, молодой солдат (родился в 1894 г.; кончил университет в Будапеште), был опален огнем большевистского учения, и с этих пор он — неутомимый революционер-большевик. Он дрался в рядах венгерской Красной армии с наступавшей со всех сторон буржуазией Чехословакии, Румынии, Югославии, Франции; дрался, защищая рабоче-крестьянскую власть Советов Венгрии. Он был непосредственным участником побед и поражений советской власти Венгрии, и выведенные в романе лица взяты из действительности. Оттого голос автора звучит так убедительно.

Теперь, в 1929 году, Бела Иллеш работает организатором пролетарских писателей в международном масштабе. И в Германии, и во Франции, и в других странах смыкаются в объединения революционные писатели.

До романа «Тисса горит» Бела Иллеш дал книгу «Николай Шугай», — это история революционной борьбы крестьянства в зарубежной Украине.

ЖИВОЙ ЗАВОД (Впечатления)

Нет, этого мало — дать, что он дымит, завод-то.

Что стоит грохот, и содрогается земля, и ухаает паровой молот. Это — завод — декорация, который стоит в стороне и на фоне которого обычно разыгрывается повествование.

Именно такой завод чаще всего встречается в нашей пролетарской литературе до сих пор.

Не странно ли? Нет. Это — одна из форм отставания художественной литературы.

Оглядываешься — одни пролетарские писатели совсем не касаются завода. У других он только упоминается, где-то стоит за кулисами. У третьих он — только фон.

Исключение — лишь немногие.

Среди пролетарских писателей вырос один. Он дал живой, настоящий дымно-дышащий завод.

Живая ткань производства пронизывает ткань повествования. Рабочие дышат трудом,

как дышат воздухом. Производство проникает быт, мысли, чувства.

Автор и техническую сторону изучил вдумчиво, подробно, и это необходимо.

Производство — это несказанного роста, нехватимой силы действующее лицо романа. Оно сурово и повелительно живет тяжелой громадой своей собственной жизни, в тончайших извивах свиваясь со всеми сторонами жизни людей, органически, неотделимо.

Любят, целуются, пьют, вредят, приходят смена на смену, работают, изобретают, отдыхают, борются, внутренне растут, невиданно расширяют свои знания о мире, — словом, жизнь. И все это громадно отформовывается производством, тем особенным, что дает заводской труд.

Но это отформовывание чувств, мыслей, познания, быта, тысячи мельчайших извивов жизни вырвано из слепого потока стихийности. Партия организовано и планомерно перевоспитывает, переделывает людей. И эта партийная работа правдиво, органически вплетена в ткань романа.

Два враждебных класса смертельно схва-

тились в заводской производственной работе. Погибнут ли сыны мировой буржуазии, кроваво отстаивающие свою плотоядную жизнь (у них — могучее оружие производственного знания и опыта, без которых завод мертв), или армия рабочих, с напряжением строящая социализм, надломится, — вот вопрос. Этот вопрос в романе решается так, как он решен в жизни: сыны буржуазии гибнут, пролетариат победоносно строит социализм.

Все это пролетарский писатель, товарищ Ильенков рисует, пишет красками в своем романе «Ведущая ось» (журнал «Октябрь» — октябрь, ноябрь, декабрь 1931 г.).

Ведущая ось — это основная, ответственная ось в паровозе, на которую насажены работающие колеса. Паровозостроительный завод, — по-видимому, брянский, но местное, индивидуальное пронизано широким художественным обобщением. Масса лиц, и почти у каждого — свои черты, свое нутро, свои оттенки.

Ходит по заводу, ходит по цехам «хозяин». В грохоте, в отвесах кроваво-просвечивающего металла черные задымленные фигуры

рабочих режут, вздымают молоты, потрясающе ахают, скрежещуще прокатывают. И ходит, ходит, постукивает палочкой «хозяин». Потускнел глаз, но пытлив, видит, все видит. «А как же это, ребятки?» Видит все неполадки, видит, постукивает палочкой.

Рабочий, трудовой заводской «отец». Рабочие его так и зовут. Скидают ему шапки, смотрят, ласково посмеиваясь, — любят его. Нет, никакой официальной должности он не снимает, никакой работы на нем не лежит, он только ходит, постукивает палочкой и замечает, все замечает, что незаметно проскочит для другого глаза.

Чудесно задумана фигура.

Нет, не задуман. Это — живой. Вырван из жизни, из заводской жизни, из заводского быта и чудесно озарен отсветом творчества.

Рабочий десятки лет дышал копотью и гарью завода — до революции. Потом после революции. Тут его дом, семья, любовь, заботы и труд, труд, труд. Труд раба до революции, труд хозяина после революции. Тут был молодым, тут состарился, тут и умереть. Опустились слабеющие руки, потускнел глаз.

Он — уже советский пенсионер. Но не только молодость, силу, труд, но и старость — заводу, но и накопленный долгий опыт — заводу. Ходит по цехам, когда они и молчаливые, постукивает палочкой, подслеповато всматривается. «Ага-га. вот оно...» — постучит палочкой.

Пронюхал, выследил старый вредителя. Вредители его убивают: тут родился, тут и умер.

Красный директор фабрики. Честный старый партиец, бывший прежде каторжанин, преданный пролетариату, сам пролетарий, преданный делу социалистической стройки.

И как трудно, как трудно руководить этой громадиной, направлять эту заводскую машину. Чуть свернул с настоящей тропки, — глядь, а ты головоотяп: разогнал всех спецов, и честных и нечестных; производство, искривившись, рушится, как гнилой дом

Чуть неверно подался в другую сторону, и уже в лапах вредителей, и производство рушится. Вот это последнее и случилось с красным директором товарищем Корченко.

И какая тут страшная логика: оторвался от

рабочей массы, попал в лапы спецов. А попал в лапы спецов, все больше стал отрываться от рабочих. И уже стал подтасовывать цифры, стал врать в лицо товарищам партийцам, конференции, — нет, не из шкурных побуждений, а для «пользы» завода, для пользы рабочих. И это уже торная дорожка к краху. Классовая борьба имеет свою железную логику: кончик пальца закусил, всего втянут.

Но какая же неодолимая сила в рабочем классе, в пролетариате, в рабочем коллективе! Тонущему протягивается заскорузлая с почернелыми от металла мозолями рука, он хватается, признает ошибки и опять дышит жизнью, интересами, великими задачами великого творящего на земле новую жизнь класса.

Так и с Корченко. Когда оглянулся: кругом дымятся развалины его руководства да иступленно оскаленные морды вредителей, схваченных непрощающей рукой, — когда оглянулся, честно пошел в цех и стал опять частицей своего великого класса, частицей, выправляемой его великой силой, его великой работой, его неохватимым творчеством.

Эта замкнутая кривая развития характерна для многих действующих лиц романа. Роман пронизан диалектикой разворачивающихся событий, разворачивающихся, характеров.

Рабочие в начале и рабочие в конце романа — это одни и те же, даже персонально одни и те же люди завода.

Рабочие в начале, рабочие в конце романа — это же совершенно разные, непохожие люди.

Вот рабочий Мохов. Он крепко прирос к старым формам семьи, быта. Он отодрал сына. А сын-то пионер. А пионеры постановили привлечь отца за битье сына к суду. И привлекли.

Мохов возмущен, взорван, а в глубине души горд и ухмыляется на сына: «А? видал времена!..»

Прошло время. Да разве это тот Мохов?! Мохов же, да не тот.

И рассказано это ласково и тепло.

Тем хорош роман: в нем не выдуманно. В нем взяты Люди живые, настоящие и обобщены в своих сплетениях, в своих сложных, ча-

сто противоречивых, отношениях, и большинству этих людей он сумел приобщить индивидуальные, им только присущие внутренние черты.

И еще чем силен тов. Ильенков, автор романа «Ведущая ось»: у него партийная организация живет не своей особой отдельной самодовлеющей жизнью, как в большинстве произведений до сих пор, а живет, дышит, работает вместе с жизнью, дыханием, работой завода, всей массы рабочих.

Только недостаточно полно развернута партийная работа. Ведь работают цехячейки, проводят кампании. И не два же человека в ячейке действенны. Надо было дать ячейку, бюро полностью.

Оговариваюсь: это ведь только первая книга. Быть может, автор широко развернет партийную работу. Все равно вначале надо было наметить.

Есть в романе и другие большие или меньшие недостатки; на них укажет критика, которая развернется вокруг этого романа. Одно несомненно: из небольших рассказов автор вырос и построил широкое полотно. И моло-

дые пролетарские писатели будут учиться по нем, как строить большие полотна.

РАССКАЗ О ПЕРВОМ РАССКАЗЕ

Так вот. Меня на север привезли два голубых архангела — два жандарма; привезли в Мезень, у Ледовитого океана. Признаюсь, мне скучно показалось. Я сам с юга, с Дона, там веселые степи, яркие дни. А на севере, над тундрой — низкое тяжелое небо. Зимой двадцать три часа ночь, а летом солнце не заходит. Я летом приехал, так три дня спать не мог. Кругом были окна: взойдет солнце с того окна, а к вечеру опять в то же окно глядит. У нас, политических ссыльных, тяжелое было положение: полиция и жандармы всячески мешали крестьянам приходить к нам, старались изолировать нас. Но с нами был в ссылке один рабочий, ткач, с орехово-зуювской фабрики, Петр Моисеенко. Он создал первую в России крупную организованную стачку на фабрике; стачка великолепно прошла и так напугала правительство, что были созданы потом фабричные инспектора. У этого Моисеенко удивительная находчивость была. Сто-

лярном он никогда не был, а устроил отличную столярную мастерскую, и мы научились и выделывали там столы, шкафы, стулья учреждениям и купцам; работали и зарабатывали деньги. Приходили к нам с мелкими заказами и крестьяне. Обыкновенно полиция их не пускала, но крестьянин возьмет доску и говорит: «Мне в мастерскую». А полицейский ворчит: «Ты не сиди долго, скажешь и уходи». Эта мастерская дала нам возможность связаться с населением.

Но тут опять вышло нехорошо: приходит, бывало, мужик, снимает шапку и начинает искать по углам икону, — а иконы нет. Крестьяне перестали к нам ходить. Кругом слух пошел: «Там, мол, нехристи живут».

Моисеенко и тут нас выручил, он взял старый рубаночек, покрыл его лачком, и в самом темном углу, в паутине, прибил. Мужик приходит, кланяется и крестится на рубанок — и овцы целы, и волки сыты. И опять повалил к нам народ. Приходят, рассказывают, как они выходят в океан бить зверя, — в открытых лодках. Нужно колоссальное искусство, чтобы в шторм не погибнуть. Удивительные мо-

ряки. А зимой выходят на льдины и там бьют зверя. Эта охота чрезвычайно опасная, но она может, в случае удачи, приносить большие доходы. Однако эти поморы жили в нищете. Почему? — Да потому, что поморы бьют на льдине зверя, а на берегу сидит кулак. Для того чтобы идти в море, нужны средства, нужна лодка, продовольствие, одежда, нужно оружие, припасы, а у поморов, конечно, ничего этого нет. Кулак им все дает и записывает. А когда помор с улова приходит, то оказывается, что у него не только ничего не осталось, но он еще должен кулаку. И так из года в год беспросветно. По-прежнему нищета: по-прежнему уходят, — нужно и дома оставить продовольствия и нужно с собой взять, — и из кабалы поморы не вылезают. Это они нам рассказывали.

Я и засел писать. Писал с необыкновенным трудом. Хотелось описать громадное впечатление от северного сияния. Бывало, зимой смотришь часами, как раскрывается эта колоссальная симфония. А на бумаге не выразишь. Писал, писал, — нет, не то! Никак слов не подберешь, чтобы передать читателям те

ощущения, которые сам переживаешь.

Мы там жили коммуной в пять человек. Я помещался на чердаке в крохотной комнатке. Возьму двери на крючок и пишу. Днями, ночами сидел. Пишешь, пишешь, глядь, а к концу дня только строк пять-шесть напишешь. Писал, перечеркивал. Товарищи стали замечать что-то неладное. Серафимыч, как меня звали, исчезает. Подойдут к комнате, потянут дверь, а она на крючке. Раз спрашивают меня: «Что это ты там, по-английски, что ли, за галстук заливаешь в одиночку?»

Почему я запирался, никому не говорил? Потому, что мне казалось, что если расскажу, что взялся за рассказ, так они умрут от хохота и будут издеваться: «Писатель нашелся».

Так я работал целый год. Рассказ был небольшой, размером на газетный подвал. Теперь бы я написал такой рассказ в несколько дней. А тогда целый год работал.

Наконец однажды, в крепкий мороз ночью — а ночь двадцать три часа — я кончил. Надо же эту тяжесть кому-то передать, не зря же я столько муки принял. Свернул рукопись в трубку, спустился вниз, стою под дверью, не

могу открыть. Скажу, что рассказ написал — хохот пойдет. Мороз донял, потянул дверь, открыл; все глянули, — деваться некуда. Они сидят вокруг стола, получили почту из России, чай пьют. Я сел. Сижу совершенно убитый. Трубка свернутая около меня лежит. Они разговаривают. Вижу, время идет, надо уж спать ложиться. А никак не выговорю, язык не повертывается. Сидел-сидел, да и буркнул:

— Я... товарищи...

— Чего?

— ... хочу вам что-то прочесть.

— Письмо, что ли, получил?

— Да нет... я...

— Чего?

— Я хочу вам рассказ прочитать.

Все изумились:

— Рассказ? Ну, ну, валяй читай.

Я сел, облокотился и начал читать. При первых звуках вдруг душно и страшно стало — до такой степени рассказ мне показался невероятной чепухой. Я только удивлялся: «Ведь я с мозгами, в твердой памяти, как же я мог написать такую чепуху?» Но было поздно, — деваться некуда. Сижу и страшным гро-

бовым голосом читаю. С меня капает пот на стол, в чай. Читал, читал... товарищи молчат, хотя бы заворочались или закашлялись. Это меня повергло в такое отчаяние, что не знал, куда бы провалиться. Кончил. Молчат! Я стал медленно сворачивать рукопись в трубку. Молчат. Потом как заорут:

— Серафимыч! Да это ты написал, — верно ли? Вот не ждали...

А я расширенным глазами смотрю: «Что они, издеваются, что ли?»

Потом до утра сидели, разбирали, обсуждали, как, куда направить. Все были в восторге, а я под собой земли не чуял. Потом ушел в глухое место и пробродил до самого утра.

Послал рассказ в «Русские ведомости» — буржуазная либеральная газета была такая. Ждем. Проходит месяц, другой. Ни слуху ни духу. Вдруг приходит почта, разворачиваем газету, видим «На льдине», а внизу подпись — Серафимович. Все глазам своим не верят. Все были в диком восторге. Один из товарищей взял вырезал рассказ и наклеил на стену у меня в каморке. Когда товарищ ушел, я подошел и прочитал. Потом ходил, еще

раз прочитал. Опять походил и еще раз прочитал. Читаю да читаю до сумерек, больно глазам, а я читаю. И все новым рассказ кажется, — чего-то раньше как будто не замечал. Что влекло и поражало — это ощущение, что по белому листу черными значками изображены мои собственные переживания. Мало того, в этот момент на громадном расстоянии друг от друга, не зная о существовании друг друга, тысячи людей переживали, благодаря этому белому листу, такие же чувства и ощущения, какие я переживал. Это мне казалось фантастическим. Спустились сумерки, а я все читал, и подумал, — не сошел ли я с ума.

Вот так родился из меня с большим трудом писатель.

О ПИСАТЕЛЯХ «ОБЛИЗАННЫХ» И «НЕОБЛИЗАННЫХ»

Я не знаю ни одного писателя, о котором бы так противоречиво, взаимно исключаяще высказывались, как о Панферове.

Позвольте мне сегодня быть читателем. Почему? А вот почему. Я критик-аналитик очень плохой, тут ничего не поделаешь, таким родился. Да и положение сложное: ведь каждая сторона взаимно исключает высказывания другой. И, товарищи, не надо думать, что это только группировки. Конечно, группировки играют крупную роль. Но и читатель подходит с такой же взаимно исключаящей характеристикой. Так, мне не под силу этот сложный анализ. А позвольте поделиться с вами просто впечатлениями читателя. Впечатлением того, что в конце концов остается у меня от писателя.

Есть писатели «облизанные», а есть «необлизанные». Так вот т. Панферов, он «необлизанный», а я вот «облизанный», Фадеев «обли-

занный» и другие в большей или меньшей степени.

В чем же «необлизанность» Панферова? Есть у него растянутость? Есть. Есть у него слабые образы? Есть. Есть у него места навязывания читателю? Есть. Он не просто дает образ, а и понимание его дает, да еще подтвердит, да еще расскажет. Это уж чрезмерность.

Но тогда что же у него остается?

Видите ли, какая штука: идешь, бывало, по лесу, бледный туман. Смотришь, что-то вырывается, человек не человек, а что-то такое рогатое торчит во все стороны, и не сразу сообразишь, в чем же дело? А когда подойдешь — это просто громадная вывороченная бурей сосна. И вот торчит корнями во все стороны. И потом, много спустя, как-нибудь случайно припоминаешь, как среди этого тумана во все стороны торчит какая-то сила. Но в этой рогатости заключена сила, которую постоянно с собой носишь, от которой не отделаешься, если бы и хотел. Вот это — Панферов.

Плохо ли это или хорошо? А, может, луч-

ше, если бы он был «облизанный»? Почему не быть вычищенным, почему торчать коряво, почему не обрезать и придать форму? Ведь работают над этим писатели, вовсе не в укор им.

Но я думаю, что если бы Панферов к этому стремился, так он Панферовым бы не был. Такой уж он. Такого мать с отцом родили, и ничего не поделаешь. Сидит в нем мужицкая сила, и ее не вырвешь из сознания. Как он бедняка мужика описывает? А вот как: «Да там, брат, у тебя у забора на заду лошадь сидит и жует забор».

Вдумайтесь в смысл этого образа. Как здесь много сказано и до какой степени это сжато! На заду лошадь сидит? Да ведь этого не забудешь никогда, и это жутко. И никакими лохмотьями не дашь ужасы мужицкой нищеты так, как эта сидящая на заду лошадь. Когда читаешь Панферова, иной раз злишься: не так — нужно иначе. Я бы иначе это сделал. Но я знаю, было бы облизаннее, но стихийность, но внутреннюю силу вещь бы потеряла, ту силу, которая пронизывает все его творчество. Стихия внутри и снаружи, она повсюду, она

как громадный пень торчит во все стороны.

У Панферова тысячи противоречий — в психологии его героев, в быту, в человеческих отношениях, потому что это люди.

Значит ли все это, что т. Панферов не должен работать над языком своих произведений. У него встречаются то великолепные куски языка, а то заношенные. Но в первом издании это было, а во втором нет. Значит, человек работает, сам чувствует, где и как нужно выправить.

Ну, а если бы он задумал сделать свою вещь «облизанной», ничего не вышло бы, она потеряла бы свою силу, этакую корявую, здоровую, мужичью, и это ему не удалось бы не потому, что он малодаровитый, но ведь каждому дана его индивидуальность.

Заставьте вы дать стихийную речь Фадееву. Он даровитый парень, но вот такой стихийности он не даст, потому что внутренне он иначе построен.

Я говорю — пройдет время, многие из нас «облизанных» будут белеть костями на полках, — мы свое дело тоже, я думаю, сделали и делаем, — но многие из нас будут белеть ко-

стями на полках, а вот панферовская вещь корявая, такая, что торчит во все стороны, надолго останется, ибо вопреки своим недостаткам, своей корявости она насыщена той силой, которая свойственна мужику. Эта сила тоже корявая, тоже с такими штуками.

Вот это мнение читателя, который перед вами, и мнение многих читателей, искушенных в литературе и неискушенных, с которыми я говорил.

Прошлой зимой я получил из Владимирского района письмо вдумчивого молодого колхозника. Он жаловался, что мало литературы, что страшно хочется читать. И между прочим рассказал, что читал «Бруски» Панферова, что он по этой книге учился. Но это было много времени назад, а теперь уж нет, теперь жизнь развивается дальше, и нужно, чтобы Панферов показал дальнейшее движение жизни, дал развитие типов, показал, как разворачивается жизнь. Вы понимаете — этот человек из глуши воспринимает прочитанное без критического анализа, но так непосредственно, что дает прекрасную характеристику. По произведениям Панферова учатся

сейчас и в будущем будут изучать нашу эпоху.

Так вот, товарищи, я к вам, как к читателям, и вы как читатели.

ОТВЕТ А. М. ГОРЬКОМУ

Алексей Максимович!
Разрешите ответить по пунктам на ваше открытое письмо ко мне в «Литературной газете» от 14 февраля.

Вы бросили мне упрек в том, что я моими отзывами о писателях помогаю засорению русского языка, стремлюсь к снижению качества литературы, канонизирую, причисляю писателей к лику святых угодников, уже не подлежащих «мирской критике», провозглашаю: «Писатель, хотя и молод, но уже гениален и обречен на бессмертие в памяти людей», что я утверждаю за Панферовым «право остаться таким, каков он есть, не заботясь о дальнейшем его техническом и культурном росте».

Все это неверно.

Вы же читали мою статью о Панферове. А я там говорю: «Значит ли все это, что т. Панферов не должен работать над языком своих произведений? У него встречаются то великолепные куски языка, то заношенные. Но в первом издании это было, а во втором нет.

Значит, человек работает, сам чувствует, где и как нужно выправить».

И еще: «...А вот панферовская вещь, корявая такая, что торчит во все стороны, надолго останется, вопреки своим недостаткам, своей корявости...»

И еще:

«...есть у Панферова растянутости? Есть. Есть у него слабые образы? Есть. Есть у него места навязывания читателю? Есть. Он не просто дает образ, а и понимание его дает. Да еще подтвердит, да еще расскажет. Это уж чрезмерность».

И это называется стремлением к снижению качества литературы?

И это называется моим утверждением за Панферовым права остаться таким, каков он есть, не заботясь о дальнейшем его техническом и культурном росте?

И это называется «канонизацией», причислением к лику святых угодников, уже не подлежащих мирской критике, возглашением Панферова гениальным, обреченным на бессмертие в памяти людей?

Предвзятость, она убивает чувство действительности.

Вы говорите: «Кто-то редактирует, кто-то издает обильнейший словесный брак; какие-то безответственные люди хвалят эту продукцию безответственных бракоделов, хвалят, очевидно, по невежеству и по личным симпатиям к авторам».

Выходит, что и я хвалю брак не только «по невежеству, но и по симпатиям к авторам».

Правильно, — «по симпатиям». Только неправильное это слово «хвалю». Не «хвалю», а разбираю, ищу то главное, чем ценен писатель.

У каждого читателя есть симпатии: одних авторов он больше любит, других меньше, третьих терпеть не может. Плохого тут ничего нет. Весь вопрос, что служит основанием для симпатии. Если половой вопрос в его растленной арцибашевской форме, — это плохо. Если широкое в коммунистическом освещении, скажем, изображение колоссальнейшего переворота в крестьянстве, — это хорошо.

К кому же у меня симпатии?

У меня симпатии на стороне коммуни-

ста-писателя, отдающего все свои творческие силы интересам партии, интересам пролетариата, перерождающейся деревне.

У меня симпатия к писателю-беспартийному, который, весь отдаваясь, делает дело партии, дело пролетариата, ибо это — мой близкий, мой брат.

Было бы хуже, если бы мои симпатии были на стороне литераторов ловкачей, которые не останавливаются ни перед какими средствами, лишь бы выдаться повыше, — лгут, клеветают, интригуют, исступленно ревут о своей преданности генеральной линии партии и тут же ведут неправильную политическую линию, от которых медленно, как отравленная мгла, плывет по рядам слабых писателей яд разложения.

Да, у меня есть симпатии, как у всякого человека, — весь вопрос, на чем они покоятся.

* * *

Вы говорите:

«В области словесного творчества языковая, лексическая малограмотность всегда является признаком низкой культуры и всегда сопряжена с ма-

*лограмотностью идеологической —
пора, наконец, понять это».*

Нет, это вы написали сторяча. Это глубоко неверно. Это хуже формализма. Разве враждебные пролетариату писатели не утверждают всюду: в первую голову и превыше всего — это художественное оформление, это разработанный язык. А содержание и его классовое освещение на втором плане.

Куда же девать выросшие из рабочих масс в великой революционной борьбе, в великом социалистическом строительстве, несшие и несущие незапятнанные знамена Маркса-Ленина-Сталина бесчисленные литературные рабочие кружки на производствах, в колхозах, совхозах, МТС. Ведь пока они приобретут отличный язык, их и близко нельзя подпускать к перу и бумаге, ибо идеологически они понесут несусветное.

А ведь профессура, писатели, инженеры, врачи, агрономы и пр. с блестящим литературным языком дали в недавнее время немало вредителей — великолепная языковая, «лексическая» грамотность была сопряжена с великолепной идеологией только наыворот.

Нет, тут какое-то недоразумение. Ведь вы как никто вынашивали писателей из рабочих, которые приходили к вам с шершавым, малокультурным языком, вынашивали так бережно, любовно, матерински воспитывали, направляли, помогали им развивать их язык, стиль, умение строить произведения. И не одна сотня их, выбившись на литературную дорогу, с теплой любовью и благодарностью вспоминает о вас.

Нет, это у вас описка.

* * *

«Я спрашиваю вас, Серафимович, и единомыслящих с вами, — пишете вы, — возможно ли посредством идиотического языка, образы коего даны выше, изобразить героику и романтизм действительности, творимой в Союзе социалистических советов».

Вы привели вереницу уродливых «идиотических» словечек: «скокулязило», «вычикурдывать», «ожгнуть», «небо забурманило» и пр. Но какое же все это имеет отношение к Панферову? Где у него это глупое «скокулязило»? Ведь у него совсем другое — он использовыва-

ет народную речь. У Шолохова, прекрасного писателя, не только весь диалог насыщен словами местного говора, но эти слова очень часто мелькают в его собственной речи. Предать его анафеме? Да ничуть, — это сообщает ему живой местный колорит, и ничего тут страшного нет, ибо у него чутье и чувство меры. Вы противопоставляете его «Поднятую целину» «Брусками» Панферова. Но почему же то, что разрешается Шолохову, не разрешается Панферову? Панферов использует, как и Шолохов, народную речь. С другой стороны, и у Шолохова есть языковые неудачи. По-моему, к писателям надо подходить одинаково.

А к чему приводит односторонность в чистке языка, показывает следующий пример. Недавно мне попалась рукопись харьковского профессора. Он там изо всех сил старается доказать, что слово «смычка» в высшей степени неблагозвучное, царапающее слух слово или, как он выражается прямо, оно раздражает. Слово, в которое Ленин гениально вложил самое революционное понятие об отношениях пролетариата и крестьянства, для него, этого профессора, неблагозвучно. А

там, смотришь, самое содержание неблагозвучно, царапает ему слух. Одно за другое цепляется ведь!

* * *

И еще вы пишете:

«...Ни один из наших критиков не указал литераторам, что язык, которым они пишут, или трудно доступен или совершенно невозможен для перевода на иностранные языки».

Это у Панферова трудно доступен? У Ильенкова трудно доступен? У Фадеева трудно доступен? У Малышкина трудно доступен? У Сейфуллиной трудно доступен? У Новикова-Прибоя трудно доступен? Да у всех наших лучших писателей язык трудно доступен? Да ведь их миллионы читают. По ним миллионы учатся. На них воспитывается вся наша подрастающая молодежь, зарубежная пролетарская молодежь. Как же может воспитываться молодежь, как могут читать миллионы произведения с труднодоступным языком?

Потеря чувства действительности.

* * *

Вы говорите:

«...Язык наших литераторов совершенно невозможен к переводу на иностранные языки».

Как же невозможен, когда эти и подавляющее большинство других авторов переведены и переводятся. Да, ведь это же всем известно!

Утеряно чувство действительности.

«Бруски» Панферова, как сообщает журнал «Литературный критик» (№ 6 за 1933 г.), изданы в Германии, Франции, Англии, Дании, Испании, Америке, Японии, Китае.

Наибольшее количество отзывов «Бруски» получили в Германии. Обсуждение книг писателя проводилось в фабрично-заводских ячейках Берлина, где рабочие высказывали свои положительные мнения о «Брусках».

О «Брусках» дает отзывы и популяризирует их и заграничное радио. Бреславльская радиостанция говорит:

«Типы, обрисованные в „Брусках“, психологически весьма интересны, действия разворачиваются живо и многообразно. Очень и очень важная книга для ознакомления с духом живого на-

рода».

Гамбургская радиостанция:

«Панферов не остановился на традиционной форме русского крестьянского романа. Он избрал новые краски, он нашел яркие слова, он описывает сцены, понятные только для молодежи и недоступные старикам, потому что традиционные навыки сделали старое поколение закостеневшим. Это — роман из жизни новой русской деревни».

Рехенбергский «Форвертс» дает следующую рецензию:

«Эта книга — шедевр! Эта книга должна быть в каждой коммунальной библиотеке. Каждый рабочий, каждый горожанин должен прочесть „Бруски“. Это непрекрашенное, лишенное сантиментов, оригинальное изображение крестьянского характера приводит к тому, что нас подобно молнии пронизывает сознание: крестьяне везде одинаковы. Борьба между реакционными и революционными элементами, между замкнутым в себе индивидуальным хозяйством и хозяйством коллектив-

ным — этот конфликт будет протекать в наших немецких и чешских деревнях примерно так же, как и в России. Книга Панферова абсолютно честна. Он рисует не идеальных людей и не карикатуру. Панферов в своих „Брусках“ дает нам животрепещущую современность, нынешнюю жизнь со всеми ее конфликтами, со всеми устремлениями, со всей ее тягой к будущему».

В журнале «Дас Нейс Фольк» рецензент говорит:

«За такой русский роман я готов отдать пятьдесят хваленых романов нашей западной цивилизации».

Большой интерес, который вызывает роман Панферова у читателей, отмечают «Дейч Вольгедейгер Прессе Винет», «Блюменталер Цейтунг», «Винет Цейтунг», а также альманахи Вельхагена и Квазинга.

Французская «Ля републик» говорит:

«Этот роман нужно прочесть каждому. Этот роман — одно из лучших произведений советской литературы...»

В книге Панферова надо особенно подчеркнуть внутреннюю и внешнюю точность, с которой обрисованы люди».

Фашисты, естественно, дают другую оценку. Критик итальянского фашистского органа «Лавора фашиста» пишет:

«...Роман Панферова не освобожден от апологетизма, от программной тенденциозности и даже от общих мест, свойственных коммунистическим молитвенникам...»

Критик А. Назаров (подозрительно русская фамилия. Не белый ли?) в «Нью-Йорк Тайме» пишет:

«...Бруски» Панферова не на таком высоком уровне. Это роман из крестьянской жизни, в котором автор стремится показать классовую борьбу в деревне и «успехи коллективизации» (кавычки автора рецензии) среди крестьянства. Беда, однако, в том, что в «Брусках» есть целые страницы нудных и ненужных деталей, действие разворачивается с изводящей медлительностью, за исключением несколь-

ких мест — книга скучна.

Коммунистическая печать («Юманите», «Дейли Уоркер»), отмечая в специальных статьях появление первой и второй книги «Брусков», подчеркивает громадное значение этих книг в ряду других книг советской художественной литературы.

«Юманите» печатает отрывок из «Брусков» Панферова со следующими комментариями:

«...Мы читали романы о военном коммунизме, о гражданской войне, о героизме Красной Армии, о пролетарских „бунтах“; каковы: „Неделя“, „Железный поток“, „Красная кавалерия“, „Вихрь“ и т. п. Знаем ряд романов, в которых отражались новые человеческие отношения; рожденные эпохой этого грандиозного освобождения, как „Голый год“, „Цемент“, „Вириная“, „Города и годы“..., но ни одна из этих книг не давала нам картины современной нам эпохи, той, когда все приготовления окончены и совершается последний этап революции, когда, наконец, проявляются с фантастической, мощью и быстротой первые результаты про-

мышленного и аграрного социалистического строительства».

«Дейли Уоркер» пишет:

«...Неоцененное значение „Брусков“ в том, что они дают нам такую картину, которая помогает полнее понять все значение достижений коллективизации при пятилетке...»

Во всех этих отзывах иностранной печати о «Брусках» несомненно одно, — это произведение произвело громадное впечатление на различные круги читателей. Книга Панферова явилась агитатором и пропагандистом идей социалистического Строительства за рубежом.

В «Литературном Ленинграде» от 10 февраля помещено письмо немецкого рабочего, заключенного в концентрационный лагерь.

«...Вы не можете себе представить, до чего скучно в лагере. Опасность опуститься умственно не менее страшна, чем истязание и муштровка. Мы конспиративно организовали библиотеку. С огромным риском читались книги. Очень сильное впечатление про-

извели на нас „Попутчики“ Анны Зегерс. Мы все нашли, что эта вещь блестяща. Но от чего мы все пришли в восторг — это от „Брусков“ Панферова. Книга вселила в нас бодрость, мы усиленно давали ее читать аполитичным заключенным».

И после этого можно говорить, что советская литература идет на понижение; что «советские издательства выпускают обильнейший хлам»; что «язык советских литераторов трудно доступен или совершенно невозможен для переводов на иностранные языки»; что в частности «Панферов плохо знает литературный язык и вообще пишет непродуманно и небрежно»?

Чувство действительности убито.

Вы говорите: «...были и еще анекдоты. Недавно некто Резников утверждал, что Панферов тоже равен Бальзаку и классикам».

«Правда» — центральный орган партии, — там нет «некто», ибо подбор сотрудников очень строгий.

И второе: т. Резников совсем не упоминал о Бальзаке. И не говорил, что Панферов равен

классикам. Он сказал, что Панферов ввел в литературу тип Ждаркина, как Толстой — Каратаева, как Горький — Самгина. Это не значит возвести Панферова в ранг классика. Это значит, что он схватил и живо обрисовал новый тип новой колхозной деревни, как Толстой дал новый тип Каратаева.

И не случайно комсомол, «Комсомольская правда» занесла «Твердой поступью» Панферова на «красную доску» советской литературы.

* * *

Но откуда же такое разноречие у нас с вами в определении писателя, его творчества? Единственно, от метода разбора писателя, анализа его творчества. Вы считаете правильным механически оторвать от произведения органически связанный с ним элемент творчества — язык, рассматривать его отдельно и из этого рассмотрения умозаключить о значении и роли писателя.

Я беру писателя в целом со всеми его достоинствами и недостатками и из этой суммы за вычетом недостатков вывожу значимость писателя.

С другой стороны, нас разделяет отношение к языку. Язык нельзя рассматривать статически: дан классиками навеки, и кончено. Как и во всем — в быту, в культуре, в науке, в строительстве, в литературе и в языке — кипит революция. Чудесный был писатель Короленко, но теперь по-короленковски писать нельзя: иные классовые отношения, иные люди, — иные темпы, и ведь все это отражается на языке. Не надо цепляться за «скокулязило», «вычикурдывать» и пр. Это — накладные расходы. Они неизбежны были и в построении армии, и в построении экономики, и в литературе. С ними надо бороться, но из-за них не надо во что бы то ни стало тянуть назад к прекрасному, но уже прошлому, медленно отходящему назад, языку, к прекрасным классическим формам — наступающий день требует своего.

* * *

Вы берете писателя однобоко — язык, форма, словесность — и приходите к заключению, что Панферов никуда не годен, а советская литература — обильнейший хлам. Неверный метод приводит к неверному выво-

ду.

Надо связать оформление, стиль, язык со всем содержанием, с сущностью произведения, с его идеей, с его целеустремленностью, и тогда только в целом открывается та или иная ценность произведения.

У Панферова, как у всякого автора, это я уже отмечал, есть и провалы, и слабые места. И он же дает сильное, оригинальное, ему только присущее. Но все его произведение приобретает углубленный характер от социального содержания. От всей вещи остается ощущение громадной стихийной мужичьей силы, «корявой», неорганизованной.

По этому поводу, в первый раз говоря о содержании, вы указываете:

«Разрешите напомнить вам, что мужицкая сила — сила социально нездоровая и что культурно-политическая талантливо последовательная работа партии Ленина-Сталина направлена именно к тому, чтобы вытравить из сознания мужика эту его хвалимую вами „силу“, ибо сила эта есть в основе своей не что иное, как инстинкт классовый, инстинкт мелкого собственника, выражаемый, как мы

знаем, в формах зоологического озверения».

Весь вопрос — куда и как направляется эта сила.

Ленин говорит: «Пролетариат должен разделять, разграничивать крестьянина-трудящегося от крестьянина-собственника, — крестьянина-работника от крестьянина-торгаша, — крестьянина-труженика от крестьянина-спекулянта».

В этом разграничении вся суть социализма.

Разграничение, указанное здесь, очень трудно, ибо в живой жизни все свойства «крестьянина», как они ни различны, как они ни противоречивы, слиты в одно целое.

Сила в мужике сидит, сила колоссальная и «корявая», т. е. неорганизованная. Силу пролетариата никак не назовешь корявой — она высоко организована, выкована фабрикой и заводом.

Так вот эта громадная мужичья сила давала громадные социальные взрывы крестьянских движений Разина, Пугачева, в разливавшихся по России крестьянских восстаниях перед «освобождением», в 1905 г., в 1917 г.

И эта же громада силы мелкого собственника упорно поддерживала буржуазный строй.

Ленин гениально утверждал, что эта мужицкая сила направляется двояко; что в мужике две «души» — собственника и труженика. Вопреки меньшевикам, кричавшим о невозможности вовлечь крестьянство в строительство социализма, Ленин гениально утверждал, что крестьянина возможно направить как труженика по одной революционной дороге с пролетариатом под его руководством. А теперь наша партия гениально это осуществила. Почему? Пробудили в мужике его «вторую душу» труженика, союзника пролетариата в революции, как неоднократно говорил Сталин. И ведь не кто иной, как Маркс, говорил, что у крестьянина есть не только предрассудок, но и рассудок. Ваше утверждение, что мужичья сила только социально вредная, неверно. Решительно неверно ваше утверждение, что мужик фабрикует в одну сторону только «нищих», в другую только «мироедов». Неверно. Решительно неверно. Панферов и дает эти две души в крестьянине.

Позвольте мне ответить и на остальные пункты вашего письма.

Вы очень часто в этом письме упоминаете, что мы с вами древние и дряхлые. Верно, древние: вместе нам около полутора ста лет. Но волноваться не нужно, — это — закон: родился, расцвел, одряхлел, умер. Непреодолимый закон, и его выполнять надо спокойно.

Вы настойчиво и неоднократно повторяете в вашем письме, что «мы с вами „протопопы“ в советской литературе, что мы проповедуем, а молодежь смотрит нам в рот, принимая наши вещания без всякой критики.

Нет, я — не „протопоп“, никогда им не был, не хочу быть и никогда им не буду.

Были литературные „протопопы“ в дореволюционное время. Они являлись вождями тогдашней оппозиционной мысли и литературы, и в этом был исторически положительный смысл их существования.

Теперь же нет в них надобности; литературой руководит наша партия, и только она, наша великая партия, руководит внимательно, умело, изумительно гибко, с чрезвычайной

любовью и мягкостью и с полным глубоким пониманием революционных задач искусства.

Нет, я — не „протопоп“. Я просто — работник в колоссальной армии пролетариата, колхозников, трудящихся, строителей социализма.

Я нередко делаю ошибки. Когда правильно и непредвзято мне на них указывают, стараюсь всеми силами их исправить.

—

Прошел мирового значения наш всесоюзный партийный съезд. Перед партией, перед пролетариатом, перед колхозниками прошли на съезде невиданные в мире громады одержанных побед. Одна из них — металлически отлитое единство партии. И это — указание для нас, писателей. Мы идем к нашему съезду, и мы должны идти к нему единые.

Конечно, единство выковывается не благими пожеланиями, а совместной, дружной, товарищеской работой. Перестанем мы, все советские писатели, препираться из-за мелочей, из-за самолюбивого отстаивания оши-

бочных положений, будем работать.

А работы — непочатый край. Показать партию большевиков, приведшую нашу страну к победе, показать ее монолитное единство — это задача огромная. Красная Армия у нас в художественной литературе — на широком полотне — не представлена. Комсомол, учащаяся масса, пионеры — тоже. Это для нас непростительно. Показать в ярких художественных произведениях великую победу дела Ленина и Сталина, показать наш путь, наше движение к бесклассовому социалистическому обществу — это для наших писателей задача огромная. Задача великая. Задача почетная.

Вот что я хотел сказать вам, Алексей Максимович, в ответ на ваше открытое ко мне письмо. Хотел сказать вам и всем писателям и всей читательской громаде пролетарской и колхозной.

РАДИОПЕРЕКЛИЧКА ПИСАТЕЛЕЙ

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Когда загремел мировой взрыв Октябрьской революции, не только социально-экономические твердыни закачались и рухнули, но и в области искусства глубочайшая трещина отделила старое от нового. Старая классическая литература, созданная лучшими представителями дворянства и разночинцами, с момента взрыва вдруг оказалась в прошлом. У совершившего единственную в истории мира революцию пролетариата и трудового крестьянства не было своей массовой литературы. Конечно, мы знаем двух крупнейших пролетарских писателей — М. Горького и Демьяна Бедного, которые принесли свое революционное творчество пролетариату и трудовому крестьянству задолго до Октября. Но массовой пролетарской литературы не было. Встала во весь рост громадная за-

дача: помочь проявить и вызвать к жизни художественное творчество, таившееся в победившем классе. Началась борьба за пролетарскую литературу. Началась упорнейшая борьба за новое художественное освещение жизни людей, событий, за новые темы, за новое построение художественных произведений, за новую конструкцию их.

Прекрасна классическая художественная литература; она сыграла огромную роль в общем культурном подъеме масс и в общественном движении интеллигенции. Этим классическая литература, несомненно, помогала грядущей революции. Но как она ни прекрасна, она почти вся в прошлом.

Разгромленное буржуазное общество оставило революции наследство — материальное и культурное. Пролетариат стал разбираться в этом наследстве — нужное оставлял для своей стройки, ненужное выбрасывал в хлам.

Нигде эта разборка не была так сложна, нигде она не встречала столько противоречивых трудностей, как в художественной литературе. Сумейте-ка подойти к гениальной громаде художественного творчества Льва Тол-

стого. «Какая глыба, а?» — говорил товарищ Ленин про Толстого.

Вокруг разборки классического литературного наследства завязалась борьба. Одни хотели целиком перетащить в художественную литературу пролетариата не только приемы художественного творчества классиков, их язык, образы, конструкцию, но и темы, но и освещение новых событий. Другие ставили под одну мерку всех писателей минувшей эпохи и выбрасывали даже гениев, полагая, что при всей силе художественного творчества они вредны для пролетариата своей чуждой идеологией.

Это была жестокая борьба двух течений.

Как же разрешилась эта борьба? Разрешила эту борьбу партия. Партия осторожно, не ломая, а направляя, вела к формированию и проявлению пролетарских писателей. Партия учила умело брать у классиков все, что повышает творческие силы, и отбрасывать все, что искривляет идеологически пролетарское творчество.

Партия учила пролетарских писателей спокойно, терпеливо, настойчиво втягивать в

совместную работу беспартийных писателей, учась у них мастерству, уча их верному восприятию революционных событий, революционной борьбы, революционного строительства.

Каковы же результаты этого руководства? Колоссальные! В неуловимо короткое историческое время гигантски поднялась, по признанию даже врагов, единственная по своему значению в мире литература. Гигантски поднялась единая внутренне советская литература, ибо уже нет деления на партийных писателей и на «попутчиков», — все писатели громадным фронтом несут свое творчество на великое социалистическое строительство. Задача создания писательских кадров решена.

Но как она решалась? Какую еще основную задачу надо было решить, чтобы решить первую задачу? Надо было создать питательную среду для писателей, ибо писатели не растут в безвоздушном пространстве. Они питаются мыслями, чувствами, критикой, идеями своего класса, его волей к социалистическому строительству, его революционной борьбой, его бытом, его жизнью.

Но чтобы писатели впитывали в себя все, что создает *классовое* творчество, чтобы несли на себе влияние своего класса, его контроль, его социальные требования к литературе, нужна известная высота культуры класса; нужно, чтобы пролетариат освоил литературу, умел в ней разбираться, испытывал бы эстетическое наслаждение при чтении художественных произведений; нужно, чтобы художественная литература сделалась неотъемлемой частью его жизни, его умственной деятельности, неотъемлемой частью его чувств, его мысли. А ведь из проклятого прошлого пролетариат вынес низкую культуру, часто безграмотность, очень часто слабую потребность в чтении художественной литературы, отсутствие навыка в ней разбираться, неумение формулировать свои требования.

И вот встала вторая гигантская задача: создать высокую социалистическую культуру. И партия эту задачу вырешила в изумительно короткий срок. Она вырешила ее, решая общие задачи социалистического строительства — индустриализируя страну, меняя экономику, быт, коллективизируя деревню, уни-

чтожая безграмотность, создавая и удовлетворяя новые потребности в пролетариате, в колхозном и трудовом крестьянстве. С другой стороны, партия совершила огромную работу, непосредственно внедряя художественную литературу в массы.

Результаты колоссальные: громадное влияние пролетариата, колхозной массы на художественную литературу неоспоримо. Появилась массовая потребность в художественной литературе.

В результате советская литература стала мировой литературой, особенной, со своим резко очерченным лицом. Какие же особые черты носит советская литература? Она резко отличается своим социалистическим содержанием. Она действенная. Партия учила писателей идти на фабрики, на заводы, на стройку, в коллективизированную деревню; идти не в качестве гастролеров, а в качестве работников в той или иной форме. Писатели работают в стенных газетах, писатели участвуют в производстве, выправляя в печати производственные ошибки, неполадки. Писатели делают на заводах доклады и чисто ли-

тературные и политические. Писатели живут единой жизнью пролетарской и колхозной массы.

Конечно, не все писатели одинаково выполняют этот наказ, но это общая линия, к которой в разной мере приближаются все писатели.

Ни одна страна не отдает столько внимания, ласковости, любви своей литературе, как Страна Советов. Это потому, что в условиях пролетарской диктатуры советская литература — органическая часть общепролетарского дела, строительства, борьбы. Советская литература для пролетариата, для колхозной массы — свое, родное, кровное.

С необыкновенной яркостью эта любовь, эта неразрывность сказалась на Всесоюзном съезде писателей. Съезд шли приветствовать и несли наказы Красная Армия, красные моряки, рабочие, ученые, пионеры, колхозники, женщины, старики, читатели всех профессий. А кто и мог прийти на съезд, жадно следили за его работой в печати.

Этот съезд отразил в себе результаты гениальной политики партии: пятьдесят два брат-

ских народа — бывшие рабы царско-буржуазного строя, замученные, темные, беспощадно задавленные эксплуататорами, теперь свободные, развернувшие свою творческую силу, прислали на съезд своих писателей. Они создали и создают свою национальную по форме, социалистическую по содержанию литературу. Они пришли на съезд обменяться творческим опытом. Они пришли еще раз подтвердить единый громадный фронт всех национальностей Союза в борьбе за социалистическое строительство.

Но съезд был интернационален и вовне: представители революционной литературы Германии, Франции, Англии, Италии, Америки, Китая, Японии и многих других стран выступали на съезде плечо в плечо с советскими писателями. Благодаря такому единству советских писателей внутри своей страны и вовне съезд имел огромное революционно-организующее в мировом масштабе значение.

Но как и отчего так выросла советская литература? Как и отчего съезд советских писателей приобрел такое значение? Единственно

оттого, что партия отдавала громадное внимание вопросам художественной литературы, вопросам организации писателей. В рабочей массе, в трудовом крестьянстве неисчерпаемо дремали литературно-художественные дарования. Партия призвала их к грандиозной работе, и создавалась единственная в мире социалистическая литература.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Лесистые горы расступились, и река вырвалась на плоскость. Люди стояли черным морем мохнатых шапок, а по краям — лошадиные головы, и под ними чернели, расходясь, бурки. Это — в двадцать первом или втором году, когда в городах закаменелыми штабелями лежали на больничном дворе сыпнотифозные мертвецы. Еще постреливали в укромных местах, и, когда мы ехали на съезд, в машине аккуратно лежали под руками холодноватые винтовочные стволы, а у меня оттягивал карман браунинг.

Съезд — как съезд: оратор говорил; из-под мохнатых шапок на него глядели внимательные черные глаза, или не глядели, упорно опущенные в землю, и почему-то вселяли тревогу. Я невольно пощупал браунинг — тут ли?

Обо всем говорили — и о том, что беден народ, что нехорошо воровать у своих же. В таком-то ауле и в таком-то ауле у бедных женщин, у которых мужья убиты белыми, увели коров, и им с детьми умирать с голоду. И те-

перь по аулам одинокие женщины, у которых мужья погибли в боях с белыми, целую ночь сидят на корточках у своей коровы, накрутив на руку веревку от рогов. Разве это хорошо? И о многом разном говорили. И стояли те с опущенными глазами.

А я все время чувствовал: за этими коровами, около которых сидели на корточках измученные женщины, за разными бытовыми вопросами что-то стояло другое, непроизносимое, и опять пощупал браунинг. И подумалось, почему же воры крадут только у женщин, мужья которых погибли в борьбе с белыми?

Море мохнатых шапок колыхнулось пробежавшей волной. И те подняли глаза. Ненависть?

Подкатил автомобиль к самому краю толпы. Быстро вышли несколько товарищей. За ними — спокойно, небольшого роста, крепкий, в белой гимнастике, с темным, за которым внутренне-сжатая энергия и напор, лицом товарищ. И я уловил пронесшееся: Орджоникидзе... Все так же спокойно, но не теряющим времени широким военным шагом

вошел он в раздвинувшуюся толпу. Стал. Небольшой опустевший круг замкнулся.

Его голос зазвучал. Он потребовал, чтоб переводили фразу за фразой. И голос опять зазвучал повелительно, неотвратимо, над громадой толпы:

— Нет, вы — не честные советские граждане, — вы — укрыватели бандитов!..

«Ого-гого!..» Я полез было к жалкому браунингу. Да ведь если засверкают кинжалы, блеснут шашки, в несколько секунд все будет кончено. «Браунинг... Тьфу!»

И я спокойно стал слушать.

— Среди вас — бывшие офицеры. Среди вас — богачи, смертельные враги советской власти, — стало быть, и ваши враги, враги бедноты, всех трудящихся. Среди вас — отъявленные контрреволюционеры.

Переводили фразу за фразой, и толпа сомкнуто сдвинулась, — круг около Орджоникидзе тесный.

— Вы... если только вы не враги советской власти, сейчас же, сию же минуту должны выдать врагов советской власти!

Всё недвижимо замерло. Тяжело нарастало

ожидание непоправимого.

Вдруг волны пошли по толпе от краев к середине, — заколыхались мохнатые шапки. «Ага... все?!» Я взглянул на Орджоникидзе: он был спокоен и нахмуренно ждал.

Волна человеческая добежала до середины и поставила, шатая, перед Орджоникидзе несколько человек; глаза их пылали неугасимой ненавистью. Особенно врезался мне старик: борода — седым клинышком, в черкеске с газырями, наискось кинжал. Нет, я никогда не видал такой нечеловеческой ненависти.

Орджоникидзе молча повернулся, пошел, не оглядываясь.

Толпа за ним донесла до автомобиля этих задыхавшихся ненавистью людей.

Далеко за автомобилем покрутилась пыль и растаяла. Слева стояли лесистые горы.

Когда мы ехали назад, товарищ сказал мне:

— А ведь знаете, дело на ниточке висело, — могли искрошить шашками.

И второй раз встретился я с товарищем Орджоникидзе. И эта встреча тянется минуты, часы, дни, месяцы, годы.

Выступаю ли на заводе машиностроения, — да ведь это же товарищ Орджоникидзе! Толкую ли о выработке с шахтерами, — да ведь товарищ Орджоникидзе! Наблюдаю ли за танками, самолетами, орудиями на маневрах нашей чудесной Красной Армии, — да ведь тот же товарищ Орджоникидзе! Куда бы ни пошел, куда бы ни поехал, откуда бы ни полетел — товарищ Орджоникидзе.

Я разворачиваю газету, одну, другую, третью — товарищ Орджоникидзе. Вот он заставляет снимать с единицы пода печи максимальную плавку. Вот он организует, вот строит, вот он ведет густые шеренги стахановцев.

Ну, ладно. Я включаю громкоговоритель — чудесно поют. Товарищ Орджоникидзе! Он не только дает черный уголь, въедающуюся нефть, увесистый чугун, он дает и продукты тонкой культуры. Нет, от него никуда не уйдешь, его всегда помнишь, его всегда видишь.

Он выковал громадину тяжелой промышленности. Да ведь это же грандиознейшая задача! Ведь тут нужны специфические сложнейшие знания, а ведь у него их не было. И меня больше всего поражало, как такой чело-

век, заваленный громадой дел оторвавшись, садился учиться. Он приобрел огромные знания и прекрасно разбирается в самых сложных вопросах.

У него жесткая рука, спуска не даст, но его любят. И удивительно оригинальна его манера обращаться с людьми.

Товарищ Орджоникидзе требует не только знаний, дела, работы, но и культуры.

Приходит к нему директор огромного, прекрасно работающего завода. Товарищ Орджоникидзе сидит за столом, работает.

Директор осторожно кашлянул: дескать, тут я. Но перед ним все та же широкая спина и наклонившаяся над бумагами черная голова.

Директор потоптался у кресла, опять, только погромче:

— Кхе, кхе!

Не оборачивается. Что тут делать? Осторожно говорит:

— Товарищ Орджоникидзе, вы меня вызывали?

А тот, не оборачиваясь:

— Пойди побрейся.

Директор вылетел, как из парной бани, по-
несся в парикмахерскую, вернулся, и они в
несколько минут порешили все вопросы. С
тех пор директор как с иголочки: гладкое
приятное лицо, галстук, свежая рубашка.

Встречу с товарищем Орджоникидзе не за-
будешь, потому что это — прекрасная встре-
ча, потому что это встреча с могучим социа-
листическим строителем страны.

НАПИСАНО ТАК, ЧТО ЗАПОМИНАЕТСЯ

Я начал читать «Рожденные бурей» Н. Островского с холодком и сначала не отдавал себе отчета почему. Потому ли, что плохо написано, или почему-то другому. Но когда стал читать дальше и дальше, я понял, почему был такой холодок. Я сразу попал в чуждую, враждебную, подлую среду. И это отразилось на восприятии этой среды. Когда я попал к рабочим, в их жестокую борьбу, я увидел, что сопоставление рабочей среды и аристократии — не механическое, что это сопоставление органически связано, и холодок у меня растаял.

Написано так, что запоминается. Я запоминаю обстановку, запоминаю то, что стоит за словами, за действиями у этих людей. Стало быть, дано умело.

Мне хочется в порядке тех вопросов, которые у меня возникали при чтении, поговорить с вами.

Эдди — он дан полностью; больше ничего

не нужно. Пожалуй, надо бы еще как-то больше углубить, но если спросите как — я не знаю. Может быть, если бы я сел и работал, продумал бы; возможно, что и нашел бы методы, как его можно углубить.

Людвига — сначала она мне показалась милой барынькой, которая любит свою красоту, когда ею кругом восхищаются, но оказывается — нет. Слова: «Вы — негодяй», которые она бросает Зарембе, сразу отделяют ее от своих резкой чертой. Но Людвигу тоже нужно углубить и обосновать психологически.

Как? Мы знаем, что из аристократической среды выходили даже революционеры. Возьмите Перовскую — дочку губернатора. Но ведь какие-то предпосылки должны же быть. Вот их нужно дать. Это очень трудно и очень скользко, но сделать это нужно. Тогда это будет действительно живой человек. Я не знаю, как она дальше развернется...

Островский. — Она в революцию не войдет.

— Это ничего не значит. Пусть не будет революционеркой, но это — человек, отклонив-

шийся в известной линии от своего класса, от тех вещей, среди которых она живет, чем дышит, и с этой точки зрения это интересная фигура, если ее доработать.

Владислав — он, конечно, только намечен, но не разработан. Его нужно непременно внутренне расширить. Но, может быть, это только эпизодическое лицо, которое помогает общему разворачиванию движения? Это нужно продумать, но он дан поверхностно, неглубоко.

Архиепископ отлично дан. Чувствуешь за этим попом всех попов, которые вас давят.

Хорош слуга *Адам*. Это — раб до мозга костей, который даже не чувствует тяжести своего рабства. Такие есть, и их много.

Около них *Францеска*. — Не знаю, как она дальше развернется, но она производит впечатление эпизодическое.

Заремба — молодец, правилен внутренне во всех смыслах. И когда он говорит Людвиге нагло, что есть только победители и побежденные, — это очень хорошо его характеризует. Но я бы сделал не так. Эти слова «победители и побежденные» даны несколько отвле-

ченно, философски. Это мне показалось немножко искусственным и наклепленным, как ярлык. А он — великолепная фигура.

Стефания — просто индюшка, хорошо откормленная, она здесь на месте.

Когда я дошел до рабочих, я сразу себя почувствовал как дома. Андрий великолепен, Васька великолепен, Олеся — милая девушка. Вероятно, она вырастет дальше. Перед ней — будущность человека, полезного революций. Вот с Раймондом дело труднее, а между прочим — фигура прекрасная. Как-то его надо дать на событиях, на столкновениях с людьми, с врагами, с друзьями, чтобы повернуть его несколько раз, чтобы он осветился со всех сторон.

Знаю, Николай Алексеевич, очень легко сказать: «Поверни несколько раз, освети со всех сторон», но трудно сделать. Если бы меня заставил поворачиваться несколько раз, я бы или долго поворачивался, или совсем бы не повернулся. Но это фигура, над которой стоит поработать.

Взрослый революционер — отец Раймонда — очень хорошо чувствуетеся. Я даже не

знаю, почему это так, почему ребята так ярко вылезают из полотна. Их принимаешь, понимаешь.

Во всей прекрасной ткани произведения есть особенно хорошие места. Вот в сторожке, когда собрались мужички после похищения аристократок, — это же для них изумительно характерно: в опаснейший момент зарылись в сено и храпят там, а другие в дом попали, в тепло, и тоже захрапели. Это захватывает, волнует, и я сам, не замечая того, при чтении бормотал, не справляясь с волнением: «Вот дубье, ведь влезли же, идола!»

Хорошо показаны взаимоотношения попавшихся. Плясали потому, что тут Андрий: не будь Андрия, не плясали бы. И то, что баре не ели, это тоже хорошо, это единственное у них оружие. А потом накушались — тоже великолепно. Сцена эта дана прекрасно.

Но вот одного героя в романе почти нет, героя, который обязательно должен бы там быть. Николай Алексеевич, по-видимому, ведет к этому. Я имею в виду массы. Ведь Андрий и другие — не висят же они в воздухе? Если «благородный народ» сидит в замке, это

понятно: за ним в замкнутом окружении почти никого нет. А ведь рабочие, они же растут органически, растут своими корнями в массы, — и вот это почти не дано. Или если дано, то слабо. Сам приходишь до этого. А, между прочим, есть великолепные сцены, когда, например, Андрий залез в кочегарку и гудит, а громадный двор наполнен народом, только народ-то, к сожалению, никак не реагирует. Его будут пороть, рубить, но он еще не настолько революционен, чтобы броситься вперед. Эти колебания говорят о том, что вот-вот наступит катастрофа — всех их изрубят, расстреляют. Но эти колебания, это напряженное ожидание, что вот лопнет терпение, нужно усилить.

Я бы добавил вот что. Гудит гудок, по улицам бегут — бежит народ, бегут рабочие. Одни спрашивают — что такое, а другие просто бегут. Какой-то внутренний голос подсказывает, что что-то случилось. Может быть, в какой-нибудь хате один тянет старое охотничье ружье, другой топор, и какая-нибудь бабка кричит: «Куда ты?» — а он бежит.

Надо показать эту просыпающуюся толпу,

которую знакомый рев гудка в необычное время привел в возбуждение. Тут нужно развернуть картину. Пусть в конце концов всех разогнали, но это даром в сознании масс не прошло.

Немцы хотя и даны эпизодически, но даны хорошо. Показана выправка, непреклонность, надменность. Это есть. Но опять-таки масса показана очень мало, очень скупо. Я запомнил только одно место: когда немцы шли поперек улицы и, все сметая, очищали ее. Сцена — великолепная, но этого мало.

Очень хорошо изображен бухгалтер, которого избили ни за что, и потом обманутые немцы пошли с неумемной ненавистью. И все-таки чего-то им не хватает. Ведь у них в известной мере открылись глаза, и они, наверное, вспомнили, как шли поперек улицы и все на пути сметали. Тут надо дать ниточку, которая протянулась бы к тем, которых они сметали.

Островский. — Спасибо, Александр Серафимович. Хорошо, старик, поправил, что лишнее.

— Еще, — я уж забыл действующих лиц, —

когда приходит хозяин выгонять семью сапожника Михельсона. Я бы их, как на фильме, подробно не показывал. Надо показать, как они, согнувшись, несут свои тощие сундучишки. А Абрам Маркович и Шпильман — это очень хорошо, когда они говорят: «Корабль тонет, крысы бегут».

Ну, Николай Алексеевич, чем богаты, тем и рады. Высказал, что думал о вашей хорошей вещи. Вы мне комплимент сделали, и я вам сделаю. Ваша «Как закалялась сталь» показала мне сначала теплее и ближе, чем «Рожденные бурей», но я должен сказать, что мастерство у вас выросло. Ведь громадный, сложный материал, а вы его здорово разложили, сорганизовали, связали в одно прекрасное органическое целое.

ХУДОЖНИК СЛОВА

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский — один из виднейших русских писателей, перу которого принадлежит не один десяток ярких, оригинальных произведений. Он — автор грандиозной военно-оборонной эпопеи «Севастопольская страда», большого цикла романов «Преображение», охватывающих русскую жизнь 1912–1918 годов, многих чудесных по колориту и острых по содержанию повестей и рассказов («Движения», «Печаль полей», «Дифтерит», «Пристав Дерябин», «Медвежонок», «Недра», «Наклонная Елена», «Устный счет», «Живая вода» и др.). В дни Отечественной войны Сергеев-Ценский опубликовал большой исторический роман «Брусиловский прорыв», посвященный замечательному русскому полководцу генералу Брусилову и его сподвижникам, нанеся в 1916 году на Восточном фронте сокрушительный удар по германскому военному могуществу.

О таланте Сергеева-Ценского проникновенно писал А. М. Горький. Прочитав «Преображение», А. М. Горький писал автору рома-

на:

«Вы встали передо мной, читателем, большим русским художником, властителем словесных тайн, проницательным духовидцем и живописцем пейзажа». «Вы очень большой писатель», — заключил Горький, подчеркивая подлинно русскую природу таланта Сергеева-Ценского, книги которого «властно берут за душу и возмущают разум, как все хорошее, настоящее русское...»

Сергеев-Ценский — писатель-новатор, ищущий и открывающий новые и новые возможности богатейшего русского языка. Сергеев-Ценский — всегда экспериментатор, искатель совершенной формы, новых оттенков содержания, изобразитель сокровенных движений человеческого сердца. Один из его романов так и называется: «Искать, всегда искать». В нем молодой советский ученый Слесарев неутомимо ищет «загадку кокса» и находит ее.

А. М. Горький имел право сказать Сергееву-Ценскому:

«Удивительно солнечно можете вы писать! И несмотря на мягкость, на лиричность

тонов, удивительно пластично!»

Русские люди, всегда ищущие, жаждущие счастья, радости, солнца, свободного труда; русские бескрайние просторы — поля, леса и особенно природа Крыма — все это широко, объемно показано писателем.

Сергеев-Ценский создал галерею образов самых различных людей. Сотни действующих лиц разного звания и состояния, самые разные диалекты и наречия русского языка воспроизведены Ценским. Огромна жадность писателя к людям, главным же образом к роду их деятельности, труду, профессиям. Эту сторону человеческой жизни Сергеев-Ценский особенно ценит, пристально изучает ее, благоговеет перед умело работающим человеком.

Он складывается как художник еще в ту далекую пору, когда в русской литературе господствовали декаденты. Он находил в себе силы не поддаваться модным декадентским настроениям. Вера в свой народ, в его великое будущее всегда жила в его творчестве. Замечательно, что «Верю!» (так называется один из самых ранних его рассказов) — лейтмотив

большинства произведений Ценского. Прекрасно звучит у него «Ты сначала дослужись до человека. Человек — это чин, и выйхе всех чинов». В этом Сергеев-Ценский неизменно верен себе. Таким он и выступает сейчас в русской культуре — певцом труда, энергии, мужества и воли.

Писатель провел детство и юность в лесостепной полосе России, в Тамбовской губернии. Здесь он по примеру своего отца сделался учителем. В русско-японскую войну, а также и в войну 1914–1918 годов он служил офицером в армии. В отставку с учительской службы Сергеев-Ценский ушел уже литератором, имея позади семь лет писательского труда. Тогда же он поселился в Алуште, в Крыму, на берегу моря, построив себе антисейсмический домик, свою творческую студию, где и создал все, что появилось в печати за его подписью в последние тридцать семь лет.

Более четырех десятков лет неутомимо и самоотверженно отдает Сергеев-Ценский свои силы делу литературы. Выполненное им огромно по масштабу. И столь же огромны всегда замыслы художника на будущее. В са-

мое последнее время Сергеев-Ценский, признанный мастер психологического повествования, обнародовал монументальное произведение — эпопею «Севастопольская страда», в которой открыл новые свойства своего дарования. В эпопее работа художника соединена в одно целое с пытливостью историка-исследователя. Велико познавательное значение эпопеи. И столь же велик в ней пафос утверждения силы русского народа, силы русского оружия. Глубочайшая любовь к родине — вот тот источник, который делает всю картину описанной Сергеевым-Ценским страды живой, волнующей, правдивой, современной в прямом смысле этого понятия.

О славе русского оружия, о доблести людей нашей родины пишет Сергеев-Ценский в дни Отечественной войны. «Брусилловский прорыв» — произведение глубоко патриотическое. Брусиллов для Сергеева-Ценского — олицетворение талантливости русского народа, его наступательной силы, его воинской и политической мудрости.

В дни Отечественной войны художник Сергеев-Ценский выступил как публицист.

Его статьи в газетах — статьи грозные, обличительные, зовущие к отпору, к победе над наглым врагом, освещенные глубокой верой писателя в силы советского народа. В журнале «Большевик» Сергеев-Ценский пишет о природе героизма русских: «В нем нет ни надрыва, ни позы, он прости естественен, он в духе нашего народа, а если теперь временами кажется, что он превосходит все, что было известно нам из истории, то ведь и великая борьба за родину, которую мы ведем, не имеет себе равной в истории мира».

Большой писатель еще порадует нас большими творениями.

МОИ ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

В начале революции в 1918 г. я заведовал литературным отделом Наркомпроса. В то время старая литература ушла, прежние литераторы ушли со сцены. А новая пролетарско-революционная литература еще не сорганизовалась. Один только Маяковский выдвигался как советский писатель. Нужно было собирать советски-революционно настроенных писателей. Это была трудная и сложная задача. Владимир Ильич Ленин в высшей степени внимательно относился к этому вопросу.

Однажды он вызвал меня в Совнарком, чтобы я дал отчет, что сделано по собиранию пролетарских писателей, по организации пролетарской литературы.

Прихожу в Кремль.

В громадном зале за длинейшим столом сидит человек восемьдесят ответственных работников — наркомов, замнаркомов, заведующих управлениями, отделами, комитетами. Много приехавших из разных краев и областей.

Все расположились за столом и вдоль стен

на стульях.

Товарищ Ленин председательствовал. Он давал ораторам слово и строго следил, чтобы ораторы не переливали из пустого в порожнее, требовал сжатости изложения по существу. И ораторы боялись расплываться в многословии. Заседание шло напряженно, сжато и быстро. Товарищ Ленин употреблял многообразные приемы, чтобы сэкономить время.

Стали обсуждать вопрос о бумаге.

Мы совершенно сидим без бумаги. А она нужна и Красной Армии и гражданским учреждениям и для печатания литературы. Владимир Ильич взял папку, слегка приподнял ее и сказал:

— Вот проект, как упорядочить выработку бумаги, как заставить бумажные фабрики напряженнее работать Ваше слово, товарищ.. Впрочем, подождите минуточку, — обратился он к товарищу, поднявшемуся со своего места. (Он тогда занимался вопросами бумаги.) Я вас попрошу с автором этого проекта выйти за дверь. Пусть он вам расскажет сущность своего проекта. Если проект — дельный, мы сейчас же проведем его без прений. Если ж он

пустой — автор проекта пусть сядет под арест на три дня. Даю вам обоим пять минут.

Товарищ Ленин продолжал заседание. Автор Шведчиков и автор проекта с скукожившимся лицом вышли за дверь. Ровно через пять минут они вернулись. У автора проекта лицо было красное, как вареный рак. Товарищ Ленин сейчас же прервал речь очередного оратора и торопливо обратился к товарищу Шведчикову:

— Ну, как?

— Проект дельный.

— Ага! Ну, прекрасно. Мы его утвердим...

И обратился к секретарю, быстро передавая ему папку.

Заседание продолжалось.

Я был поражен удивительным умением Ленина вести заседание в высшей степени экономно, уплотненно. Я не помню ни одного председателя, который бы так умел это делать.

Товарищ Ленин в высшей степени внимательно слушал речи оратора, а сам в это время успевал перекинуться словом с кем-нибудь из сидящих товарищей. То и дело он пи-

сал маленькие записочки товарищам, сидевшим за столом: «Вы неправильно ставите вопрос...», «Надо сделать так-то и так-то». Эти записочки он ловко бросал сидевшим поодаль.

Ночь... Уже два, три, четыре часа непрерывной работы. У всех глаза посоловели. Усталые лица бледны. Товарищ Ленин видит, что нужно дать передышку. Он кладет карандаш, хитро оглядывает сидящих товарищей и говорит, пряча усмешку:

— Я, знаете ли, прошлой осенью поехал в деревню с товарищами отдохнуть. Ну, беседовали мы с крестьянами и крестьянками о деревенской жизни. Чайку попили. Потом пошли поохотиться. Хозяин говорил, что под самой деревней есть озерцо в камышах, там масса уток. Приходим туда. Сняли башмаки, закатали штаны и полезли в озеро... Топко. Шуршит камыш, из-за него ничего не видно. Высокий.

Мы шлепаем по воде. Ноги уходят выше колена в тину, с усилием вытаскиваем их. Слышим, где-то впереди из камыша вылетают утки и... пропадают — нам из-за камыша их не видно. Мы все болтаемся в тине, с плес-

ком и шумом. Так, должно быть, с час промаялись... «Да ну их к черту, — говорит товарищ... — Этак мы до вечера без толку будем болтаться...»

Насилу вылезли. На берегу собрались ребята-тишки. Как глянули на нас, давай хохотать и шлепать в ладошки. «Дяденьки, дяденьки, да вы всю тину с озера выгребли».

Мы глянули друг на друга и тоже стали хохотать. Жалко — не было ни художника, ни фотографа. Надо было нас увековечить.

Ленин хитро посмеивается. А зал оглашается хохотом товарищей. Усталости — как не бывало. Блестят у товарищей глаза. Напряженны приготовившиеся к работе лица.

Товарищ Ленин постучал по столу карандашом, и опять началась напряженно-громкая работа по спасению страны от врагов, по строительству.

Как-то вечером в 1920 году товарищ Ленин прислал за мной машину. В Кремле поднимаюсь по лестнице в маленькую, чрезвычайно просто обставленную квартиру Ленина. За небольшим столом сидит Надежда Константиновна Крупская и сестра Ленина, Марья

Ильинична Ульянова. С Марьей Ильиничной мы долго работали вместе в «Правде». Через нее Владимир Ильич давал направление газете. Он указывал на ошибки в ведении газеты и подчеркивал ее хорошие стороны. Это чрезвычайно ободряло редакцию и всех сотрудников.

Вскоре вышел Ильич, подошел ко мне, крепко пожал руку, пригласил за стол. Глядя на меня чуть усмехающимися глазами, он быстро спросил:

— Ну, с кем вы больше встречаетесь — с интеллигентами или с рабочими?

— Да понемногу и с теми и с другими.

— Да-да-да, — быстро проговорил Владимир Ильич, — вот литературу нужно нам свою организовать. Кого из старых писателей можно привлечь?

— Да ведь как... Много их, да, пожалуй, самых талантливых, враждебно убежало на запад, за границу. Другие — в Харбин, в Японию. Третьи притаились тут у нас, и о них ничего не слышать...

Владимир Ильич на минуту призадумался, потом быстро заговорил:

— Да-да-да... Надо новых писателей создавать, из рабочих, из крестьян. Кружки...

— Кружки у нас есть. Кружки рабкоров, селькоров. Пишут.

— Да-да-да... отлично... Постепенно из них и художники выйдут.

— Рабочие, Владимир Ильич, своими силами стараются культурно выбиться. Вот пришлось мне побывать на северной дороге на станции Лосиноостровской. Там интересно проявили себя в самодеятельности рабочие. Жил там богатый помещик. У него была скаковая конюшня. Когда пришла революция, он сбежал совсем с Лошадьми. Осталась конюшня, заваленная навозом. Рабочим арсенала очень хотелось иметь свой клуб. А здания не было. Выпросили они у местной власти эту конюшню. Им дали. Рабочие выгребли навоз, поделали окна, настлали пол и потолок, потом сделали эстраду [1], электричество провели, повесили занавес, поделали сами скамьи, кресла. Получился клуб, вроде «Дворянского собрания».

Владимир Ильич заразительно расхохотался. И все приговаривал:

— Да-да-да, совершенно «Дворянское собрание», совершенно «Дворянское собрание».

И в этом радостном смехе, в этом радостном блеске глаз неизъяснимая любовь и гордость за рабочий класс. И все приговаривал:

— О, рабочий класс все может сделать!.. И из конюшни — «Дворянское собрание».

В начале Великой Октябрьской социалистической революции я с группой товарищей организовал литературно-художественный журнал «Творчество». Владимир Ильич опять внимательно следил за жизнью журнала, за всем тем, что в нем появлялось. В общем он хорошо относился к журналу. Но однажды сказал:

— Хорошо, что журнал отдает внимание жизни рабочих и особенно, что сами рабочие там пишут. Но скажите, почему у вас ничего не рассказывается о жизни советской женщины, о крестьянке. Ведь в преобразованном государстве, в социалистическом государстве, она играет громадную роль. Ведь впервые у нас она выходит на широкую общественную арену. Посмотрите, как наши женщины, даже в деревне, рвутся к учебе, к образованию.

Пройдет немного лет, и у нас появятся женщины-врачи, женщины-агрономы, женщины-инженеры, женщины-ученые, женщины — государственные деятели. Да-да, — опять проговорил он, думая о своем, — нужно писать о нашей женщине. От них много зависит, как пойдет строительство нашей жизни.

Не было ни одного вопроса общественной жизни, который бы проходил мимо товарища Ленина. Но один из таких вопросов всегда, при всяких выступлениях, по всякому поводу, он особенно подчеркивал — это вопрос о защите отечества.

На партийных собраниях, на комсомольских и на общих больших собраниях рабочих, крестьян и интеллигенции он упорно говорил:

— Готовьтесь к отражению враждебных нападений. Готовьтесь защитить вашу родную страну... Помните, мы окружены со всех сторон враждебными государствами...

Это упорное напоминание глубоко проникло в народные массы, — и нынешняя война ярко показала это: народ, все национальности, по завету Ленина, страстно бьются с

подлыми врагами и ломают их.

Ленин чрезвычайно внимательно заботился о людях умственного труда — об ученых, о профессорах, изобретателях, инженерах. В те трудные времена он старался всячески возможно лучше устроить их жизнь.

В высшей степени внимательно он относился к жизни и обстановке писателей. Марья Ильинична Ульянова как-то рассказала ему, что я нуждаюсь, живу в сырой квартире. Владимир Ильич сейчас же распорядился отвести мне комнату в 1-ом Доме Советов и дать мне обед в совнаркомовской столовой. Это чрезвычайно поддержало меня.

В 1918-19 годах рабочие голодали. Ленину часто присылали из деревни мясо, печеный хлеб, овощи, фрукты. Владимир Ильич все это отсылал в детские дома, в больницы. Однажды Марья Ильинична сказала ему:

— Володя, ты бы хоть немного себе оставлял... А то ослабеешь, свалишься, не в состоянии будешь работать...

Владимир Ильич ответил:

— Я не могу есть, зная, что рабочие и их дети голодают.

25 декабря 1943 г.

ПИСАТЕЛЬ-ПАТРИОТ

Для Алексея Толстого самым священным, самым глубоким чувством была любовь к родной земле. Это чувство определяло все содержание, характер и образы его творчества.

Русский народ, Россия — такова основная тема Толстого. Разгадка русского характера во всем его многообразии, богатстве оттенков, широта жизнеощущения — вот что особенно занимало пытливую мысль писателя-патриота. Но «чтобы понять тайну русского народа, его величие, — говорил Толстой, — нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер». К этим эпохам и обращался писатель в своих монументальных произведениях: «Петр I», «Иван Грозный», «Хождение по мукам».

«Петр I» — это огромное историческое полотно, это широчайшая картина нравов, быта, исторических событий. Но прежде всего это — книга о русском характере. С изумительным мастерством нарисован писателем

образ Петра — человека и государственного деятеля; показаны его любовь к России, его демократизм, раскрыта сложность его богатой пылкой натуры. Бесконечно больно, что неоконченным осталось это произведение, украшающее нашу отечественную литературу.

«В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого» — это народное изречение Толстой поставил эпиграфом к одной из частей своей трилогии «Хождение по мукам». И эта мысль о великой очистительной силе борьбы и страданий, выпавших на долю русского народа, красной нитью проходит через все три книги романа. Но не скорбь и не уныние рождает рассказ об этих муках, по которым вместе с героями своего романа, вместе с бесконечно дорогим ему народом проходит писатель, показывая, какой дорогой ценой покупалась новая, свободная, светлая жизнь на нашей земле. Горячей верой в мощь России, в неисчерпаемые силы народного духа проникнута каждая страница романа.

Той же уверенностью и твердостью дышат

горячие строки Толстого-публициста, с первых же дней Великой Отечественной войны выступившего с пламенными призывами к русским людям, к родному народу. Верный сын России, пламенный патриот, Алексей Толстой великим оружием слова помогал своему народу в его борьбе с врагом, — и в светлый день победы, который уже близок, его образ будет с нами.

В ГОСТЯХ У ЛЕНИНА

Я не раз слышал Владимира Ильича Ленина на съездах и конференциях. Меня всегда поражало, что по количеству времени Ленин говорил обычно меньше ораторов, выступавших и до и после него, но впечатление от его речей оставалось всегда колоссальным.

С глазу на глаз я разговаривал с Владимиром Ильичем только однажды. И мне хочется рассказать об этом единственном незабываемом дне, — дне, когда я был в гостях у Ленина.

Как-то под вечер в моей квартире раздался звонок, вошел человек и сказал:

— Товарищ Ленин прислал за вами машину.

Минут через пять я был в Кремле. Молодой красноармеец провел меня в верхний этаж, где была расположена квартира Ильича. Очтившись в маленькой полутемной передней, я стал раздеваться и тут же услышал быстрые и легкие шаги: из внутренних комнат вышел Ленин. Он разом окинул меня взглядом с ног до головы и, горячо пожимая руку, приветливо сказал:

— Ну-с, пойдёмте, пойдёмте...

Мы вошли в столовую. Это была тесная, но удивительно опрятная и уютная комнатка, заставленная простой, довольно потертой мебелью. Мне случалось часто бывать в квартирах рабочих, обставленных значительно богаче. Видимо, в частной жизни, в быту Ильич строго придерживался принципа жить в тех же условиях, в которых живут сейчас трудящиеся массы.

— Как живете? С кем больше встречаетесь? С рабочими или с интеллигентами? Расскажите, — спросил Владимир Ильич, не спуская с меня глаз, как будто боялся, что я убегу.

— Да понемногу и с теми и с другими...

Я был смущен: «Ну, что я буду рассказывать Ленину, — думалось мне, — ведь все, о чем я могу рассказать Ильичу, он давно уже знает, и едва ли это будет ему интересно».

Владимир Ильич чутко заметил мою растерянность и, чтобы дать мне время прийти в себя, попросил Надежду Константиновну:

— Ты бы нам чайку...

Я не мог представить себе другого челове-

ка, который, стоя высоко над людьми, был бы так чужд честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

В тот памятный вечер я увидел Ленина совсем иным, не похожим на вождя и трибуна, каким встречал его ранее на съездах и конференциях. Передо мной явился новый Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым неутомимым интересом ко всему миру, удивительно мягко и любовно относящийся к людям.

— Пишете что-нибудь? — спросил он.

— Трудно сейчас писать: очень много организационной работы.

Ильич нахмурился.

— Да, организационной работы у нас сейчас в стране много. А вам, писателям, необходимо привлечь в литературу рабочих. На это надо направить все усилия. Каждому маленькому рассказу рабочего надо сердечно радоваться. У вас в журнале рабочие помещают свои вещи?

— Маловато, Владимир Ильич, видимо, знаний, культуры не хватает.

Он поглядел на меня смеющимися прищур-

ренными глазами.

— Ну, это ничего, научатся писать, и будет у нас превосходная, первая в мире пролетарская литература...

Была в этих словах яркая вера в человека, в русское искусство, неугасимая действенная вера и любовь к рабочему народу.

На столе появился самовар: он был помят и выглядел поношенным; стаканы, чашки, блюда — все было сборное, а угощение отличалось удивительной скромностью.

Неприхотливый, занятый с утра до ночи сложной тяжелой работой, Владимир Ильич совершенно забывал о себе. И сейчас, сидя за столом Ильича, мне казалось, что мы «чаевничаем» где-то в глухой деревне, пьем, обжигаясь, горячий, из бурлящего самовара, чай, осторожно и экономно покусывая сахар.

Улыбаясь, глядя прищуренными глазами, Ленин все ждал от меня рассказа.

«Да ведь надо, — думал я, — рассказать Владимиру Ильичу о рабочих; ведь затем он и пригласил меня, чтобы заглянуть в тот мир, от которого он порой бывает отодвинут своей колоссальной работой».

— Недавно я был на станции Лосиный Остров, — собравшись с духом, начал я, — там находится крупный арсенал, и в нем работает более тысячи рабочих.

Владимир Ильич придвинулся и наклонился ко мне, ласковый и внимательный. С поразительной, присущей ему живостью, ясностью и интересом он стал подробно расспрашивать о жизни рабочих арсенала, об их зарплате, о работе, о школах, об отдыхе. И по этим метким, острым вопросам я почувствовал в Ильиче какое-то особое чутье, глубокое органическое понимание того, что переживает в данную минуту рабочий класс. Речь Ленина была скупа словами, но обильна мыслями.

Чувствуя заинтересованность Ильича, я рассказал в тот вечер о том, как рабочие-арсенальцы задумали выстроить у себя клуб. Ни средств, ни стройматериалов у них не было. Райисполком не смог прийти на помощь. Тогда на специальном собрании арсенальцы решили приспособить под клуб... конюшню.

Ленин внимательно слушал мой рассказ. С висков на углы век набегали морщинки, гла-

за засветились юмором и добродушием.

— Позвольте, это как же из конюшни клуб? — спросил Ильич, полный живого неутомимого интереса.

— В Лосином Острове жил прежде богатый помещик. Он держал первоклассных скаковых лошадей, а для этих лошадей была выстроена огромная конюшня. Вот рабочие, засучив рукава, принялись переделывать конюшню в театр: вычистили помещение, побелили, прорезали окна, настлали полы, возвели сцену, понаделали мебель, провели электричество, а когда все было закончено, — отправили в Москву делегацию за артистами. Артисты с радостью откликнулись на призыв. Весь поселок пришел на открытие нового театра. Это был чудесный праздник.

Ильич восторженно слушал, и глаза его сияли.

— Ну-ну, — поторапливал он мой рассказ.

Краткому, характерному «ну-ну» Ленин умел придавать бесконечную гамму оттенков — от осторожного сомнения, от едкой иронии до одобрительного поощрения, доступного человеку очень зоркому и понимающему.

цему все «превратности» судьбы.

— ...И вот рабочие своими силами из конюшни построили, так сказать, фешенебельное «дворянское собрание».

Глаза Владимира Ильича вспыхнули непо тухающе ярким светом. Он вскочил, корена стый и плотный, и, держась за лацканы пи джака, залился чудесным ленинским ребя чьим смехом. Никогда я не встречал челове ка, который умел бы так заразительно сме яться, как смеялся Владимир Ильич. Было да же странно, что суровый реалист, человек ве ликих исторических дел может смеяться по детски, до слез. А Ильич, захлебываясь сме хом и с трудом преодолевая его, проговорил:

— Только рабочий умеет построить из конюшни «дворянское собрание»; а то ли он еще построит — дайте срок...

Если бы я никогда прежде не слышал об Ильиче, не видал бы его, не знал бы, как отно сится Владимир Ильич к рабочему классу, — эти слова, а всего более задушевный отцов ско-ласковый смех открыли бы мне всю глу бину его любви, веры и гордости за созидате ля жизни, рабочего-творца.

Мысль Ленина, точно стрелка компаса, всегда обращена была в сторону классовых интересов трудового народа.

Стирая слезы смеха, уже серьезно, с большой силой, негромко Ленин сказал:

— Страшно дорого заплатили рабочие за свое право быть хозяевами жизни, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Надежда Константиновна прислушалась к шуму в коридоре и торопливо вышла. Вернувшись, она шепнула что-то Владимиру Ильичу.

Словно пеленой подернулось его лицо. Взор стал ровным, холодновато-насмешливым, а взгляд твердым и непреклонным. Это был уже не веселый собеседник, а вождь рабочего класса, гениальный полководец пролетарских сил.

— Вы меня простите, — сказал Ленин, — но сейчас получено известие, что белые выбили наши войска из Ростова. Я должен идти работать...

На этом наша беседа окончилась. Я откланялся, с трудом отрывая глаза от Владимира Ильича.

Через два дня было получено сообщение о том, что белые выброшены из Ростова, что Красная Армия гонит их к Новороссийску, а еще через несколько дней страна узнала, что полчища белых сброшены в море.

МОСКВА

После царской ссылки я, по окончании пгласного полицейского надзора, приехал в Москву.

Не понравилась мне Москва: лохматая, кривобокая, — как старушки, горбатые домишки. То ли дело Петербург-щеголь, где я учился в университете до ссылки, прямые улицы, красивые здания, торцовые мостовые, прекрасные мосты. А тут что? Захолустная деревня.

А жить надо. Поселился я на Пресне. Понемногу протиснулся в среду писателей, стал писать и печататься. Издал первую книжку.

Вздулась волна революции. Непотухающая ненависть заливала рабочие ряды. Прогремела Пресня — отчаянная борьба, расстрелы, кровь. В каждой рабочей семье нет либо отца, либо брата, либо сына. А на льду Москва-реки лежали сотни трупов.

Москва стала для меня другой — отблеском огней Пресни ложился на город.

Этот скользящий огонь не потух. Раздался взрыв Октября. Москва стала советской.

Социалистическая столица стала перестраиваться.

Каждый раз, возвращаясь из частых поездок по стране, я не узнавал Москву, так лихорадочно из старого облика встала новая Москва. Сначала буйное преобразование столицы удивляло и поражало, а потом этот облик строящейся Москвы стал привычным, обыденным.

А когда я ездил по стране, чувствовалось, как свет Москвы освещает все уголки огромной страны.

Я получил возможность съездить за границу, познакомиться с чужой жизнью. Попал в Париж. Получил в гостинице комнату. Вечером вышел на улицу. Улица ярко, как днем, освещена. Народу было мало. Завернул за угол в переулок. Передо мной вырос плохо одетый человек и сказал, торопливо оглядываясь

— Деньги! — это прозвучало просительно и угрожающе.

Я полез в карман, подыскивая мелкую монету. Он все так же просительно и настороженно-враждебно оглядывался кругом. И

вдруг спросил:

— Немец?

— Нет.

— Англичанин? — быстро переспросил он.

— Нет.

— Кто же вы?

— Я — русский.

Он бросился ко мне. Я попятился.

— Москва?

— Да.

Секунду он молчал, потом схватил меня за рукав, прижал к груди и вскрикнул захлебываясь: «Москва! Москва!»

Я растерянно молчал. Из-за угла вышел по-лисмен и медленно прошел мимо, поглядывая в нашу сторону. Незнакомец быстро отшатнулся. Я сунул [2] серебряные монеты, а он сконфуженно сказал:

— Нет, не надо. Я — безработный.

Я кивнул головой и медленно пошел; а он все шептал мне вслед:

— Москва! Москва!

Я вышел из переулка на ярко освещенную улицу. Услышал за собой торопливые, тяжелые шаги. Оглянулся — передо мной стоял по-

лисмен. Он вежливо вскинул пальцы к каске и сказал:

— Пардон, мсье, к вам, кажется, приставали за милостыней?

— Нет, — торопливо ответил я, — никто не просил.

Он немного растерянно оглянулся. Перед нами стоял аккуратно одетый господин в шляпе и улыбался.

— Я видел, — сказал он, — у вас просили милостыню. Вы иностранец?

— Да.

— Ну понятно, — сказал он со злобой, передернувшей его лицо. — У нас запрещено.

Он было пошел. Опять обернулся ко мне.

— Вы англичанин?

— Нет.

— Немец?

— Нет.

— Кто же вы?

— Русский.

— Москва, — зашипел он злобно и стал переходить улицу. Я тоже отвернулся и пошел по переулку. Москва, милая, родная Москва, ты тревожишь все сердца.

Я не предвидел тогда, что в такой короткий срок орды таких, как этот господин, двинутся во главе с Гитлером на нашу Москву.

Они пришли, чтобы разрушить социалистическую Москву. Чтобы убить социалистический строй, Гитлер обещал взять и разрушить сердце его — Москву. Но наглый и бездарный шпик обманул свои орды: Москва их отбросила. Чудовищные гитлеровские волны отхлынули. Перед ними стояла Москва.

Москва, строгая, вобравшая в себя вею силу и волю народа. И во всех уголках страны, и во всех уголках мира и друзья и враги тревожно спрашивали: «Как Москва?» Москву защищали и армия и московские сапожники, академики, школьники, ткачи, бухгалтера — народное ополчение. Кто не ушел на фронт — до упаду работал у станков на фабриках, на заводах. Это было нечеловеческое напряжение.

Гитлер просчитался. Нет, не просчитался, он просто не знал и не мог понять, что Москва не просто город. Ведь любой город можно взять, если напасть внезапно и иметь преимущество в военных силах. Ведь брали

же столицы раньше?! Он не мог понять, что это — социалистическая Москва, столица социалистической страны.

Что же такое социалистическая столица? А вот что.

Однажды в Париже зашел ко мне в гостиницу знакомый французский писатель, и мы решили с ним осмотреть музей.

— Как мы с вами поедем?

— На метро.

Мы вышли на улицу. За углом — толпа. Черная дыра зияла, и в нее проваливался народ. Так это метро? Я тоже провалился. И все боялся убится. Грязная, скользкая лестница, ноги разъезжались. Люди скользили, толкали друг друга, хлопались спинами о заплесневелые темные стены. Раздраженные восклицания, крики стояли в тяжелом, затхлом воздухе подземелья.

Я не убился, уцелел и вместе с другими добрался до поезда метро. Мы втиснулись в переполненный вагон, по свистку его дернуло, и он начал качаться и греметь, как телега.

Я вспомнил наше социалистическое метро в Москве. Да ведь это же дворец! А тут что? Я

сказал это своему спутнику.

— Чего же вы хотите? — ответил он. — Ведь это же капиталистическое предприятие. Хозяева метро думают об одном — поменьше расходов, побольше барыша. А если это не удобно, то ходи своими ногами,

Я забыл конкретную разницу: капитализм и социализм. А тут вдруг почувствовал, это — Париж и Москва. Ну, конечно, знал: социализм — это равенство всеобщее, а капитализм — это упорное, неприкрытое неравенство. Но это я знаю в мыслях, в теории, а конкретно?

Капитализм: буржуазия катит в великолепных машинах, а трудовое большинство скользит, хватаясь друг за друга, по скользким, черным, заплесневелым лестницам в трущобах метро, похожих на заплесневелые дыры, — это Париж.

Социализм: дворцы под землей, сухие, теплые, блестящие, освещенные, — это для всех, — это Москва.

И так во всем.

Социализм: разбиваются новые парки и бульвары, это — для всех, строятся музеи,

это — для всех, санатории — для всех. Это доступно всем, и это — Москва.

Все строится удобно, красиво, и это для всех, — это социалистическая Москва.

За границей умеют строить и великолепные здания, и театры, и санатории. Но все это для маленькой кучки с тугой мошной, а громадная, задавленная подневольным трудом масса этим не пользуется. Для этой массы все некрасивое, неудобное, последний сорт. И все втридорога, и поэтому приносит хозяину большой доход.

Правда, в Москве есть еще дореволюционные остатки, ветхие домишки, узкие улицы и пр., но каждый москвич знает, что все это временно. На его глазах осуществляется план реконструкции Москвы, который быстро поглощает все эти остатки старины...

Москва моя, чудесная, единственная, неповторимая, ты полна творческой мысли, ты учишь благородному отношению людей друг [3] другу, ты воплощаешь лучшие мечты человечества!

Вспомнишь о Москве, затрепещет сердце, — какая она мужественная, героическая,

величественная и... родная.

ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРЬКОМ

Я подошел к парадному квартиры писателя Андреева. Снег медленно садился на деревья, на белую улицу, на горевшие по-ночному фонари.

Никак не подыму руку, чтобы нажать пуговку звонка Запущенные снегом окна длинного одноэтажного дома по-зимнему и загадочно светились. Тут жил Леонид Андреев, писательская звезда которого и слава неожиданно вспыхнула, загорелась ярко и ослепительно. Я был с маленьким именем — журналист, писатель, — жил в глухих местах донской земли. Андреев — мы с ним не были знакомы — письмом пригласил меня переехать в Москву работать в газете «Курьер», в которой он принимал ближайшее участие.

Никак не подыму руку к звонку. Я знаю, за этими светящимися окнами в больших, уютных, тепло натопленных комнатах сегодня все, что было лучшего и знаменитого в России. Но главное — Горький.

Не подыму руку — страшно после провинции. И вдруг неожиданно для самого себя позвонил, и в ту же секунду остро прохватила мысль: «А не удрать ли?.. Метнуться за угол, только и видали, — и никто не узнает». Но было поздно: дверь отворилась. Вошел, разделся.

В длинной столовой за громадным столом сидело человек восемьдесят, все знаменитости, и никому из них не было дела до меня, никто не повернул головы. А я уж никого не различал, как в тумане. Андреев ласково меня усаживал. Застольный гул и говор колыхался из конца в конец. В отдаленном конце стола поднялся широкоплечий, высокий, с длинными, откинутыми назад волосами, с открытым, смело глядящим лицом. Раздвигая стулья и людей, он подошел ко мне, взял за руку, сжал так, что у меня пальцы склеились, с славной улыбкой тряхнул и коротко:

— Горький...

Потом пошел назад, все так же раздвигая стулья. Гул, смех, говор сразу смолкли. Все головы ласково повернулись ко мне, заулыбались, закивали. Соседи задвигались, давая

мне попросторнее сесть. Внимательно спрашивают, какого мне налить вина, как мне нравится Москва, как поживают мои детки, супруга. Одни накладывают мне на тарелку икры, лососины, семги, устриц, к которым я не знал, как приступить. А с другой, стороны льют мне в бокал вина, шампанское... Ух ты?! Вспотел... Сердце ласково билось, и я думал: «Так вот он, Горький».

Это первое впечатление от Горького потянулось через жизнь. Уже оба мы стариками стали, уже фигуры погнулись, а перед глазами немеркнущее: широкоплечий, в серой перехваченной блузе, и лицо гордо и смело закинуто, он чувствовал в себе рвавшуюся силу и хотел ее понести трудящемуся человечеству на счастье, на радость...

...Мне позвонили. Подхожу к телефону. Голос Горького. По-нижегородски нажимает на «0»:

— Товарищ Серафимович? Здравствуйте, Заходите ко мне, потолкуем насчет издания ваших рассказов.

Только я вошел в его кабинет, он — большими шагами мне навстречу, крепко пожал

руку, с хорошей, влекущей улыбкой, и, все так же нажимая на «о», с места к делу:

— Вот задумал я дело, и большое дело. Надо собрать писателей. У нас отличные писатели есть, а все врозь. Вы сколько за лист получаете?

— Шестьдесят рублей.

Он сердито прошагал из угла в угол. Сел.

— Вы у нас будете получать триста. Это — для начала, Чехову, Андрееву мы платим по восемьсот. Писатель должен напряженно думать о своей вещи, а не о том, как он завтра достанет молока ребятишкам.

У меня все пошло кругом: неужели, неужели же проголодь, нищета, мучительное выколачивание строчек, — все это позади? И я могу писать спокойно, целиком отдаться творческой работе? И не будут надо мной с величайшим презрением издеваться толстосумы, в руках которых были издательства?

— Только... — Горький поднялся во весь свой рост, поднял палец, — ...только, чтобы писатель давал лучшее, что может дать. Каждый писатель может дать лучшее, если честный, у которого в душе лежат слитки... Ну, у

одного побольше, у другого поменьше, не в этом дело. Золотая она, хоть крупинка, а золотая, — главное, честно относиться к своей работе. Ведь читать будут сотни тысяч, а дальше и миллионы. Революция созревает, рабочий класс все более и более революционизируется, и в этой атмосфере даже легальная (и потому охватывающая широкие массы), но честная литература сыграет большую мобилизующую роль. Рабочие умеют читать между строк, и всякая честная мысль найдет у рабочего отклик.

Он вдруг выбросил длинные и сильные руки вперед, вверх, вниз, два раза присел и вытянул ногу. Я смотрел во все глаза. Он улыбнулся, потрогал мои мышцы.

— Мускулы у вас ни к черту... Гимнастикой не занимаетесь? Ну, конечно, не до гимнастики! А надо. Я вот сегодня семь часов из-за стола не вылезал. Понимаете, рукописей горы. Ведь надо взвесить каждое слово, каждую строчку. Сотни тысяч читать-то будут!

В этот вечер я родился писателем.

Зеленых книжечек сборников «Знание» все ждали с величайшим нетерпением. Толь-

ко выйдут, их моментально расхватывают в магазинах.

Горьковские сборники имели громадное значение. Они стали выходить, когда революционные настроения закипали все больше и больше. Сборники «Знание» помогали подыматься этим настроениям. Помещааемые в них художественные произведения, конечно, не были революционными в прямом значении этого слова, да это и невозможно было при тогдашней цензуре. Но таково удивительное действие внутренне честной, правдивой художественной вещи, что она, не призывая прямо к революции, прокладывает к ней широкую дорогу в сердцах, в чувствах людей.

Горький сумел сгруппировать вокруг издательства «Знание» все лучшее, что было среди писателей. Все же гнилое гнал беспощадно и яро.

Горький был не только гениальный, незабываемый пролетарский писатель, но и удивительный организатор. Две эти черты особенно ярко его характеризуют. Кипучая энергия всегда билась в его груди и сказывалась в его соприкосновении со всем окружающим.

Неуемная жажда, неуемная энергия, бившаяся в груди Алексея Максимовича, прорывалась во всем — во встречах с людьми, в характеристиках людей, в его разборе произведений молодых писателей, в его указаниях им, как писать, как освещать явления быта, общественной, всего окружающего.

...Я принес ему для сборника «Знание» мой рассказ «Маленький шахтер». Это — рассказ о мальчугане, сыне шахтера. Мальчика спустили в шахты откачивать ручной помпой воду. Он работает в темноте один и медленно, унывно считает: раз, два... тоненьким голоском. Все шахтеры наверху — праздник. Алексею Максимовичу рассказ понравился.

— Хорошо! — сказал он, нажимая на «о». Да вдруг поднялся во весь свой рост, протянул руку и проговорил взволнованно:

— Вы не забываете: шахтеры — ведь это же рабочие! Они ведь создают все, что кругом. У вас они только бедненькие, забитые, — жалко их... А ведь это не вся правда. Шахты-то кто попрорыл? Кто взрывал каменные неприступные пласты? От воды-то захлебываются, — кто откачивал? Вот у вас этот мальчо-

нок, — ну, жалко его, конечно. Но вырастет, он же настоящий, потомственный шахтер будет! Перед ним земля-то, недра раздвигаться будут. Это вот, знаете, забываем мы все... А надо помнить. А раз помнить, значит, и изображать.

Я шел от него, оглушенный. Мимо катился шумный Невский, и фонари заливали его, и не было голубых теней.

«Как же это я мог пропустить такую громадину? — говорил я в сотый раз сам себе. — Ведь рабочий, ведь он же — творец. Ведь, действительно, нельзя же его изображать только бедненьким, забитым, темным. Ведь это же мировая сила, которая в конце концов свернет шею мировой буржуазии».

И сколько мне ни приходилось потом наблюдать Горького, когда он помогал молодым начинающим писателям, всегда Горький поправлял и направлял не только в области литературной техники, но еще больше в области изображения той силы, которая заложена в массах.

В боях фронт всегда выдвигает впереди себя отдельные части. На них сыпятся злые уда-

ры врагов.

Нет битвы более ожесточенной, более яростной, чем классовая схватка. И вот в этой колоссальной, теперь уже переходящей в революционно-мировую, схватке есть свои выдвинутые посты.

Одну из таких выдвинутых далеко вперед позиций занимает Максим Горький.

Мы здесь, в Советском Союзе, пишем боевые статьи, очерки, стихотворения, рассказы, — и это имеет громадную социальную боевую значимость. Это — неохватимое по своему значению оружие, и разящее и строящее: Но мы здесь бьемся плечо в плечо в товарищеском строе: Мы дышим дружеской атмосферой взаимной поддержки, уважения, любви. Мы все здесь среди своих, социально родных И близких.

Максим Горький — один. Он страшно выдвинут, своей позицией в глубь вражеского стана. Он — в злобной вражеской атмосфере.

Конечно, он окружен не только ненасытной враждой буржуазии, но и любовью, сердечностью западноевропейского пролетариата, мирового пролетариата.

Только ведь пролетариат там пока плохо вооружен. Его печать скудна и большей частью вдавлена в подполье. Его чувства и мысли трудно пробиваются вовне. А рев подлых глоток буржуазной печати сплошь затягивает гнилым туманом, все извращая.

И вот тут-то выделяющаяся из желтого тумана фигура Максима Горького отовсюду видна. И его голос, голос правды о строящемся социализме в стране пролетарской диктатуры, звучит до самых далеких краев. И гнилостные волны буржуазной лжи и клеветы не; в состоянии подавить этот ясный, четкий, честный голос, и пролетариат мира слышит его.

Сегодня он возвращается на родину.

Мы встречаем не только крупнейшего нашего писателя, но и бойца на одной из самых выдвинутых позиций в толщу врага.

Имя Горького, великого русского писателя, его пламенная любовь к родине и неукротимая ненависть к фашизму сейчас, в дни Великой Отечественной войны, вдохновляют советских людей, доблестных воинов Красной Армии на подвиги в боях за честь и свободу нашей земли.

В творчестве Максима Горького выражены лучшие черты русского народа: сила, мужество, выносливость, воля к победе, высокий патриотизм, уважение и вера в человека.

Горький знал, что фашисты могут двинуть против Советского Союза полчища разбойников, грабителей и убийц. И, предвидя грядущую битву, битву, которую мы сейчас ведем, он сказал однажды, что на эту священную борьбу встанет весь советский народ, «встанет армия, каждый боец которой будет хорошо знать и чувствовать, что он бьется за свою свободу, за свое право быть единственным властелином своей страны. Этот боец победит».

По складу своего характера Горький был подлинным бойцом. В работе, в борьбе с врагами родины он горел и никогда не отступал перед трудностями. Любимым и главным героем творчества Горького был гордый человек, способный, подобно юноше Данко, поднять свое сердце, как факел, указывающий людям дорогу к свету, к свободе. Высшей похвалой человеку в устах Горького было: «Годен для драки!»

Таким нетерпимым к злу, ко всякой несправедливости и рабству борцом, страстным и мужественным, знал я Горького.

Горький всегда был занят, всегда работал — с утра до поздней ночи. Он боролся с тогдашними мракобесами, учил и помогал молодым писателям, собирал деньги на революционное движение. Горький любил трудовых людей, и масса народа, самого разнообразного, с самыми разнообразными нуждами толкалась у него целые сутки. За Горьким охотилась полиция, но это его не останавливало.

В течение всей своей жизни Горький был и оставался не только писателем, но и революционером, активным общественным деятелем. Он пользовался огромной любовью и уважением великих наших учителей — Ленина и Сталина.

В последние годы А. М. Горький был одним из крупнейших организаторов антифашистского фронта. За ним следовала передовая литература Запада. Горький писал, что фашизм «...по сути его, является организацией отбора наиболее гнусных мерзавцев и подлецов для порабощения всех остальных людей... Выше-

названные мёрзавцы и подлецы... озабочены расширением и укреплением наглого и откровенного деспотизма, небывалого по бесчеловечию порабощения трудового народа. Термины „подлецы“ и „мерзавцы“ я употребляю только потому, что не нахожу более сильных».

Приход к власти фашистов в Германии, сопровождавшийся кровавой резней, истреблением лучших людей страны, Горький гневно назвал подлой победой «Тройного, зловонного „Г“ (Гитлер, Геббельс, Геринг)».

Весь свой талант, все силы своего горячего сердца Горький отдал борьбе за свободу и счастье трудового народа. Он много сделал и много мог еще сделать...

Но такие люди, как Горький, не умирают. Великий русский писатель — с нами. В одной из последних своих статей Алексей Максимыч писал, что он, старик, пойдет рядовым бойцом в тот бой, который предстоит Красной Армии. Армия, рядовым бойцом которой мечтал быть такой человек, как Горький, эта армия непобедима...

МИХАИЛ ШОЛОХОВ И ЕГО «ТИХИЙ ДОН»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К «ТИХОМУ ДОНУ»

Ехал я по степи. Давно это было, давно, — уж засинело убегающим прошлым.

Неоглядно, знойно трепетала степь и безгранично тонула в сизом куреве.

На кургане чернел орелик, чернел молодой орелик. Был он небольшой; взглядывая, поворачивал голову и желтеющий клюв.

Пыльная дорога извилисто добежала к самому кургану и поползла, огибая.

Тогда вдруг расширились крылья, — ахнул я... расширились громадные крылья. Орелик мягко отделился и, едва шевеля, поплыл над степью.

Вспомнил я синее-далекое, когда прочитал «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Молодой орелик желто-клювый, а крылья размахнул.

И всего-то ему без году неделя. Всего два-три года чернел он чуть приметной точечкой

на литературном просторе. Самый прозорливый не угадал бы, как уверенно вдруг развернется он.

Неправда, люди у него не нарисованные, не выписанные, — это не на бумаге. А вывалились живой сверкающей толпой, и у каждого — свой нос, свои морщины, свои глаза с лучиками в углах, свой говор. Каждый по-своему ходит, поворачивает голову. У каждого свой смех; каждый по-своему ненавидит. И любовь сверкает, искрится и несчастна у каждого по-своему.

Вот эта способность наделить каждого собственными чертами, создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний человеческий строй, — эта огромная способность сразу взмыла Шолохова, и его увидали.

Точно так, как он умеет очень выпукло дать человека, он умеет сосредоточенно и скупю обрисовать и целую людскую группу, человеческий слой.

Легко, свободно, творчески-спокойно и уверенно, знающим, рачительным хозяином вводит он вас в свой дом, в громадину, возведенную им на протяжении сорока печатных

листов. Без напряжения, без усилий, без длинного введения сразу вы попадаете к казакам, к этим мужикам-хлеборобам в мундире, с мужицким нутром, однобоко и уродливо искривленным царско-помещичьим строем.

Но весь быт, навыки, — все — от земли, от черно-дымящейся пашни, степной и бескрайней.

Прокофий привез из Туретчины турчанку. Затосковалась.

«Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до татарского ажник кургана. Сжал там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой...» («Октябрь», 1928, кн. 1-я).

Не думайте, здесь и не пахнет сентиментальностью: казаки грубы, насмешливы, темны, подчас дики, — и турчанку Прокофия затоптали коваными сапогами, как ведьму.

«Тонкий вскрик просверлил рев голосов. Прокофий раскидал шестерых казаков и, вло-

мившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Пластая над головой мерцающий визг шашки, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади с левого плеча наискось развалил его до пояса. Казаки, ломавшие кольца с плетня, сыпанули через гумно в степь...».

Да, темны и дики, — и внезапно и неожиданно вдруг прощупываете вместе с Шолоховым чудесное сердце, чудесное сердце в заглубленной казачьей груди. Естественно, просто открывается человеческое сердце, как естественно растет трава в степи.

Яркий, своеобразный, играющий всеми цветами язык, как радужно играющее на солнце перламутровое крылышко кузнечика, степного музыканта. Подлинный живой язык степного народа, пронизанный веселой, хитровой ухмылкой, которой всегда искрится казачья речь. Какими дохлыми кажутся наши комнатные скучные словотворцы, — будь им легка земля...

Рискованные у других писателей, те же самые сцены у Шолохова правдивы и не вызывающи. Он называет вещи их именами, но рассказ сдержанно целомудрен. Здоровое и крепкое сидит в молодом писателе. На громадном протяжении сорока листов автор показывает быт казаков, службу, войну, революцию.

Нигде, ни в одном месте Шолохов не сказал: класс, классовая борьба. Но как у очень крупных писателей, незримо в самой ткани рассказа, в обрисовке людей, в сцеплении событий это классовое расслоение все больше вырастает, все больше ощущается, по мере того как разворачивается грандиозная эпоха.

Да, из яйца маленьких, недурных, «подававших надежды» рассказов вылупился и писатель особенный, ни на кого не похожий, — с своим собственным лицом, таящий огромные возможности.

И все-таки его жадно подкарауливает опасность: он может не развернуться во всю ширь своего таланта.

С молоком матери Шолохов всосал родную синюющую степь, родной донской говор; на-

веки с детства запечатлел родные казачьи лица, тончайшие движения их ума и сердца, и чудесно все это зазвучало со страниц журнала.

Ну, а дальше? Дон будет исчерпан. Исчерпано будет крестьянство в своеобразной военной общине. И если молодой писатель не пойдет в самую толщу пролетариата, если он не сумеет так же удивительно впитать в себя лицо рабочего класса, его движения, его волю, его борьбу, — если не сумеет этого сделать, сам себя ограбит народившийся писатель — Если не сумеет всосать в себя великое учение коммунизма, проникнуться им, писатель не даст полотен, которые мог бы дать.

Но молод и крепок Шолохов, Здоровое нутро. Острый, все подмечающий глаз. У меня крепкое впечатление — оплодотворенно развернет молодой писатель все заложенные в нем силы.

Пролетарская литература приумножится.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Бескрайный степной простор изнеможенно тонет в знойном мареве. С увала на увал лениво тянется полынок, краснеют глиной овраги. По балкам вдоль степных речушек, где куры бродят, потянулись хутора— Лишь за Доном, что разлегся среди песков, под прибрежными горами, — лес, озера, поросшие камышом и осокой — рыбные места. Да станицы сверху до самого устья осели по берегам его.

Затеснили Вешенскую станицу пески, — к самому Дону притулилась она.

Еще до войны и революции в 1905 году родился на хуторе Кружилином, Вешенской станицы, у вдовы казака сын Михаил Муж ее, Шолохов (они жили невенчанные), был, как тогда называли, «иногородний», то есть выходец из центральной России из Рязанской губернии. Он нес на себе тяжесть, какую несли все «иногородние».

С самого рождения маленький Миша дышал чудесным степным воздухом над бескрайным степным простором, и жаркое солн-

це палило его, суховеи несли громады пыльных облаков и спекали ему губы. И тихий Дон, по которому чернели каюки казаков-рыболовов, неизгладимо отражался в его сердце. И покосы в займище, и тяжелые степные работы пахоты, сева, уборки пшеницы, — все это клало черту за чертой на облик мальчика, потом юноши, все это лепило из него молодого трудового казака, подвижного, веселого, готового на шутку, на незлую веселую ухмылку. Лепило его и внешне: широкоплечий, крепко сбитый казачок с крепким степным бронзовым лицом, прокаленным солнцем и ветрами.

Он играл на пыльных заросших улицах с ровесниками-казачатами. Юношей он гулял с молодыми казаками и девушками по широкой улице, и песня шла с ними, а над ними луна, и девичий смех, вскрики, говор, неумиряющее молодое веселье.

Казаки — веселый, живой, добродушно-насмешливый народ. Как соберутся кучкой, так — гогот, свист, поднимающий хохот, друг друга умеют высмеять, позубоскалить.

Песни поют чудесные, задушевные, степ-

ные, от которых и больно и ласково на сердце. И они, разливаются от края до края, и никогда не забудешь их.

Михаил впитывал, как молоко матери, этот казачий язык, своеобразный, яркий, цветной, образный, неожиданный в своих оборотах, который так волшебно расцвел в его произведениях, где с такой неповторимой силой изображена вся казачья жизнь до самых затаенных уголков ее.

Когда пришел срок, мальчика отвез отец в гимназию.

Мать, чудесная женщина, совершенно неграмотная, но крепкого, пронизательного, живого ума, чтоб самостоятельно вести с сыном переписку, принялась учиться грамоте и выучилась. Мать и сын радостно писали друг другу. Видимо, мать подарила ему наследство быть крупнейшим художником, подарила драгоценный дар творчества.

Пришла Октябрьская революция. Рвануло застоявшийся, слежавшийся, неподатливый уклад казачьей жизни. Всюду глубоко пробежала расселина по казачеству, голытьба пошла с революцией, богатеи — с контрреволю-

цией. Как и для всех, этот вопрос, куда идти, стал перед молодым Шолоховым. Было не до гимназии. Он бросил школу, и широкая революционная волна подхватила его и понесла в гущу событий.

Молодой Шолохов — выходец из трудовой семьи, и в его груди вспыхнула жажда битвы за счастье трудящихся, замученных. Вот почему он еще юношей-комсомольцем бился с кулаками в продотрядах. Вот почему он участвовал в борьбе с бандами. Вот почему в своих произведениях стал на сторону революционной бедноты. Партия и комсомол революционно выправили его мысли, революционно зажгли его сердце жаждой принять участие в великой битве эксплуататоров и эксплуатируемых. И он принял это участие сначала с винтовкой, а потом с пером в руке.

Во время гражданской войны Шолохов мыкался по донской земле. Долго был продработником. Гонялся за бандами, которые бушевали на Дону до 1922 года. Нередко банды гонялись за его отрядом.

Когда схлынула гражданская война и было покончено с разорявшими землю бандами,

Шолохов начал в 1923 году писать. В этом же году он начал печататься в комсомольских газетах и журналах. Первую книжку рассказов он выпустил в 1925 году. В 1925 году родился как писатель Михаил Шолохов.

Вешенская станица у самого Дона. Казачьи курени белеют по широким улицам. На них много пыли, мало зелени. Только милая река, уютно огибая станицу, тихо зеленеет берегами. То голубая под синим высоким небом, то ослепительно золотится солнечным мельканием, то сердито нахмурится и, серая, зашумит волнами и ветром.

Недалеко от Дона новый дом с мезонином, — дом Шолохова. Наверху кабинет, там работает писатель. Летом в нем не усидишь — жара, зимой не усидишь — холод, — шутит Шолохов.

Работает он только по ночам. Привычку эту создают посетители, которые валом валят к писателю. Тут казаки, колхозники, рабочие, командиры, студенты, туристы, иностранцы, старухи, дети, журналисты, писатели, музыканты, поэты, композиторы — все едут на машинах, на лошадях, верхом, на лодках, на па-

роходе, летят на самолетах. И всех Шолохов ласково принимает, поговорит, разъяснит, поможет, направит.

Он страстно любит свою степь, с ее суховеями, то знойным, то ласковым солнцем, с ее оврагами, перелесками, с ее зверями, птицами. Он страстно любит свой тихий Дон, который, ласково изогнувшись, так мягко, нежно обняв станицу зелеными берегами, создал удивительно уютный, душевный, тихий, чуть задумчивый уголок. А в Дону ходит рыба, богатая востроносая стерлядь, и Шолохов весь отдается рыбной ловле.

Дон дает ему массу впечатлений, типов, часто неожиданных проявлений народного творчества, самобытного, оригинального в борьбе с природой. У писателя — большие знакомства и тесные дружеские отношения с рыбаками-казаками. Он у них учится, он их наблюдает, он берет от них сгустки векового народного творчества.

Старый, седобородый, лет под девяносто, казак-рыбак, молчаливый, сосредоточенный, ставит переметы на стерлядей, как и другие рыбаки, чьи баркасы сереют по синеве в До-

ну. Но вдруг исчезает, и никто не знает, куда он подался. Только всегда гонит к станице свой баркас, и в плетеной корзине густо бьется стерлядь.

Стерлядь — капризная рыба: то не успевают ее с накатных крючков снимать, то вдруг пропадает, — ни одной! — и рыбаки сушат свои снасти на берегу, — без толку и ставить. А дед откуда-то пригоняет баркас полон стерляди. Между казаками-рыболовами твердый слух: колдун! Как ни просили, как ни кланялись, деду, чтобы открыл секрет, молчит, как каменный.

Стал просить открыть секрет Шолохов. Дед — ни за что. Раз вытащил из кармана Шолохов бутылочку, выпили. В другой раз вытащил, пошатнулся старик, не выдержал.

— Слухай, внучек, только перед богом дай обещание — никому не скажешь. Это мой дедушка папаше моему передал, а папаша мне. Пойдем.

Спустились к воде. По всему берегу виднелись вытащенные баркасы: стерлядь начисто ушла куда-то, густой Дон синел. Подошли к сапетке, плетеной из прутьев корзине, что

тихонько качалась на приколе. Полез дед в нее рукой, вытащил маленькую, вершка в два, стерлядочку, — у него всегда их было наготове несколько, — достал из шаровар длинную-предлинную суровую нитку, протянул конец ее иглой через хвостик стерлядки, захлестнул, а к другому концу привязал гусиное перо.

— Ну, садись.

Сели в баркас. Зорко проглядел дед весь берег, — никого. Оттолкнулся. Проплыли за поворот. Дед осторожненько сунул в воду стерлядку и выбросил перо с ниткой. Стерлядка исчезла в глубине, а перо, нырнув и вынырнув, мигая, торопливо поплыло вверх по Дону. Дед изо всех сил налегал на весло, поспевая за пером.

Перо вдруг остановилось, постояло вертикально, потом легло и понеслось вниз. Дед за ним. И километр, и два, и три бежит, белея, перо, и баркас за ним. Много проплыли по течению. Вдруг опять стало. Остановился и баркас. Долго стояли. Тогда дед снял шапку, перекрестился.

— Здесь...

Поставили перемет. Скоро стали снимать трепещущих стерлядей.

Стерлядь — общественная рыба, — живет стадами. И кочевая рыба: поживет на одном месте, снимется и уйдет за десяток-другой километров, а на прежнем месте пусто, и рыбаки сушат переметы. Вот стерлядка-то и нашла стаю.

Нужно было видеть восторг Шолохова, — восторг охотника, и восторг наблюдателя, и восторг писателя, в руки которого попался из россыпи народного творчества крошечный червонный кусочек.

Рыбная ловля на Дону и охота, когда он от зари до зари бродит по степи, в которую вкраплены по балкам, по степным речушкам колхозы, дают Шолохову и огромное наслаждение и огромный творческий материал. Дон, степь, казачество, его история, его быт, его психология, вся эта громадина неохватимо надвинулась со всех сторон и кровно связана с психологией, с настроениями, с чувствами самого писателя.

Едет Шолохов верхом домой после прогулки в степи. Под станицей между садами въет-

ся узкая, сдавленная высокими плетнями дорога. Из-за поворота вылетает на большом ходу машина. Лошадь — на дыбы, еще секунда, и она валится вместе с седоком на груды щебня у плетня. Машину затормозили, выскочили седоки, охают, извиняются, просят сесть в машину, довезут домой, а вскочившую лошадь доведут.

— Ладно... ничего... — говорит Шолохов и садится в седло: унижительно верховому ехать в машине, а лошадь вести в поводу.

Въезжает в станицу, глядь, а морда у лошади в крови. Э-э, стой! Разве можно в таком виде явиться в станицу? Поворачивает к Дону, слезает на берегу, заводит лошадь в воду и начинает тщательно отмывать лошадиную морду от крови. Потом отмыл пузо и ноги от грязи, — заляпались, когда упала через камни. Вымыл с величайшим трудом, усилиями и болью: нога как свинцовая, взобрался на седло и въехал в станицу на вымытой, чистой лошади. Дома уже не мог сам слезть — сняли. Внесли в комнату. Сапог нечего было и думать снять, — нога почернела, раздулась, как бревно. Пришлось сапог разрезать. Характер-

нейшая черта казачья — сам изломался, но лошадь должна быть в порядке.

Он часто приезжает в какой-нибудь колхоз, соберет и стариков и молодежь. Они поют, пляшут, бесчисленно рассказывают о войне, о революции, о колхозной жизни, о строительстве. Он превосходно знает сельскохозяйственное производство, потому что не со стороны наблюдал его, а умеет и сам участвовать в нем.

Шолохов принимает близкое участие в общественной жизни станицы. Он — член ВКП(б) и член райкома партии. При его помощи организован театр молодежи в станице.

Он — отличный семьянин. Трое ребятишек.

Несколько лет тому назад Шолохов поехал за границу и было помер с тоски. Он попал в Берлин. Чуждый язык, особый, строгий уклад громадины-города подавляли его. А перед ним все стояли золотые под солнцем степи, без конца и краю размахнувшиеся в теряющуюся по краям синеву. Синел перед глазами тихий Дон, уютный, весь в зелени его уголок под Вешенской станицей, колхозные собра-

ния, веселые сборища, песни и пляски казачьей молодежи. Нет, не мог вытерпеть Шолохов, поехал на вокзал, в вагон — и на милую родину, такую милую, родную, что ни забыть ее, ни надолго оставить невозможно.

В 1935 году он снова поехал за границу, теперь возмужавший, теперь уже, кроме «Тихого Дона», автор «Поднятой целины» — вещи, которая открыла глаза зарубежному читателю на удивительный процесс единственной в мире переделки индивидуалиста-крестьянина в коллективиста.

Произведения Шолохова по своей правдивости, искренности, по своей внутренней красоте и художественной убедительности, по своей красочности, по своему умелому психологическому анализу нашли широкий доступ в сердца зарубежных читателей. Его вещи переведены на все европейские языки.

Его поездка за границу вызвала огромный интерес в широких кругах Дании, Швеции, Норвегии. «Тихим Доном» и «Поднятой целиной» в переводах зачитывались. Он разбудил в скандинавских странах своими вещами огромный интерес к советской литературе, к

советской культуре. Скандинавских читателей нагло всегда обманывала буржуазная печать, которая в лучшем случае замалчивала достижения советской литературы, советского искусства, советской культуры, в худшем случае — несла тупую околесицу, расписывая большевиков как полудикарей, у которых не может быть талантливых произведений. И вдруг датчане, шведы и норвежцы собственными глазами стали читать в переводах прекрасного советского художника, развернувшего огромные полотна, равных которым не найдешь в буржуазных странах в теперешнее время.

Но не только стали читать, они увидели воочию этого писателя, они услышали его, этого представителя неизвестной советской литературы, о которой так злобно и упорно, так долго лгала буржуазная печать или с ненавистью упорно молчала. А он, вот он стоит, живой представитель литературы прекрасной советской страны. Ему задают массу вопросов обманутые читатели, и он спокойно и ясно отвечает, и обман постепенно рассеивается. Это — победа: умение вторгнуться в чужое,

искусственно создаваемое буржуазной печатью непонимание и разломать его!

В скандинавских странах Шолохов знакомился с постановкой сельского хозяйства. И когда вернулся домой, рассказал колхозникам о хорошей постановке там удобрения полей, о борьбе с сорняками и чесоткой скота.

— Но, — говорил Шолохов, — по механизации сельское хозяйство в СССР стоит на самом высоком уровне.

Во всех виденных им хозяйствах самый новый трактор был куплен в 1924 году.

Из Дании Шолохов поехал в Англию. В полпредстве состоялась его встреча с рядом английских писателей, журналистов и общественных деятелей. Шолохову было задано много вопросов о писателях и читателях в Советском Союзе. На всех произвели сильное впечатление громадные массы книг, издаваемых в СССР. Особенно большое впечатление на английских журналистов произвели миллионные, тиражи и распространение произведений Горького. Шолохов указал, что удивляться тут нечему, — ведь число читателей увеличилось в сто раз со времени свержения

царизма. Это объясняется ликвидацией безграмотности, весь народ теперь читает книги. Шолохов указал, что нигде в мире писатели не пользуются таким уважением и Любовью, как в Советском Союзе.

Через два дня в Лондоне же Общество культурной связи с СССР устроило большой прием в честь Шолохова. Зал был переполнен представителями английской интеллигенции, литераторами и художниками. Председательствовал известный профессор литературы Лондонского университета Аберкромби, который в своей речи тепло приветствовал Шолохова.

Встреченный бурными аплодисментами собрания, Шолохов в яркой и живой речи рассказал аудитории о новой советской литературе, о новом советском писателе и о новом советском читателе.

Директор Британской академий художеств Ротенштейн, выступив от имени собравшихся, выразил большое удовлетворение в связи с приездом Шолохова в Англию. Он подчеркнул чрезвычайную важность подобных визитов как средства культурного сближения

между СССР и Великобританией.

Из Лондона Шолохов поехал во Францию. В Париже Общество по изучению советской культуры устроило встречу французских писателей с Шолоховым. Встреча носила чрезвычайно дружественный характер и вызвала большой интерес во французских литературных кругах.

На приеме присутствовали выдающиеся представители французских литературных кругов.

Своими прекрасными произведениями и своей, поездкой в зарубежные страны Шолохов сослужил большую службу народам СССР. Он хорошо поработал над уничтожением той неправды и лжи, которой оплетает буржуазная печать своего зарубежного читателя.

ИЗ ИСТОРИИ «ЖЕЛЕЗНОГО ПОТОКА»

Не странно ли: не с завязки, не с интриги, не с типичных лиц, не с событий, даже не с ясно сознанный первичной идеи зачинался «Железный поток».

Не было еще Октябрьской революция, не было еще гражданской войны, не могло, следовательно, быть и самой основы «Железного потока», — а весь его горный плацдарм, весь его фон, вся его природа уже давно ярко горели передо мной неотразимо влекущим видением. Могучий пейзаж водораздела Кавказского хребта огненно врезался в мой писательский мозг и велительно требовал воплощения.

Перед самой империалистической войной с сыном Анатолием шли мы по водоразделу Кавказского хребта. Громадой подымался он над морем, над степями, — здесь, у Новороссийска, было его начало.

Серые скалы, зубастые ущелья, а вдали под самым небом не то блестящие летние облака,

не то ослепительные снеговые вершины.

Мы все подымались, и постепенно закрывалось море возникавшими со всех сторон скалами. Воздух становился реже. Дышалось быстро. Над головами проносились ослепительно белые облачка. Зной лился так, как он льется только высоко в горах.

Вдруг скалы стали исчезать. Мы остановились, ахнули: Кавказский хребет, громадина водораздела, вдруг сузился, и открылось несказанное: справа и слева хребет оборвался в бездонную глубину. Справа необозримой стеной синело море, неподвижно синело — на этом расстоянии не было видно волн. Слева, в недостижимой глубине, толпились голубые стада лесистых предгорий, а за ними неохватимо уходили кубанские степи.

Мы стояли безмолвно на узком, метра в два, перешейке, и не могли оторваться, точно карта мира раскрылась перед нами.

Потом опять пошли. Узенький перешеек остался позади. Пропали синие предгорья, пропали далекие кубанские степи. Пропала безмерная недвижная синева моря. Кругом опять скалы, рододендроны, чинары; хребет

снова могуче раздвинул исполинские плечи.

Победила Октябрьская революция.

Москва, уже своя, красная, родная. Она с выбитыми зубами, с выбитыми, чернеющими окнами, исковерканными улицами, облупленными, простреленными стенами. И все — оборванные, и все голодные. И у всех блестят ввалившиеся глаза.

Ну, что ж! Верно, от этого кругом бешено скребут, чистят, чинят, надстраивают, организуют, исследуют, создают, борются с ядовитыми врагами, — строят социализм.

«А я что? а мое какое место?»

Ну, я участвую по мере сил и разума в этой невиданной в мире борьбе-строительстве, — пишу воззвания, обращения, статьи, полемизирую, ругаюсь. В «Безбожнике» с тов. Моором обличаю антисоветских попов, затаптываю поминутно вырывающийся из-под ног смрад удушливого «опиума» с ладаном, шлю корреспонденции с фронта, и... и все-таки странное постоянно живущее чувство: «нет, не то, не такое ты делаешь». Нужно сделать... какой-то нужен размах, размах хоть в каком-нибудь соответствии с тем, что гигантски

творилось среди развалин, обломков старого, которое выкорчевывалось... кругом, как муравьи, бегали. Но и в литературе нужно было как-то широко захватить.

«Как?»

Хожу ли по ободранным улицам, спотыкаюсь ли молча в сугробах под обвисшими трамвайными проводами или в непроходимом махорочном дыму сижу на собрании, — то и дело мне слух и зрение застилает: синеют горы, белеют снеговые маковки, и без конца и краю набегают зеленовато-сквозные валы, ослепительно заворачиваясь пеной.

Тряхнешь головой, и опять — непролазный дым, усталые, ввалившиеся от голода лица, серые шинели, даже на девушках, которые их кокетливо перешили. А там опять наплывает...

Я одно чувствую: эти серые скалы, нагнувшиеся над бездонными провалами, откуда мглисто всплывает вечный рокот невидимого потока, белеющие снеговые маковки, — и по ним синие тени; эти непроходимые леса, густые и синие, где жителями лишь зверь да птица: всё это, как чаша, требует наполнить

себя.

«Чем? Какое содержание я волью?»

Синий едкий дым, проступающие и исчезающие голодные лица, голос оратора, всплывающий возле меня обрывками, и опять: синие, как трава, леса предгорий, далекие ослепительные маковки, бескрайные степи и необъятная громада морской синевы.

Мне вспомнилось: бежал мой мотоциклет, по кличке «Дьявол», по этому самому извилисто-серому шоссе, еще до империалистической войны, и также слева громоздились горы, справа синело море. В горах остановился. Поставил своего «Дьявола» на ноги, купил у крестьянина молока. Он — из Рязанской губернии. От нищеты пришел сюда, ребяташки мал-мала меньше, замученная жена, зажившиеся на свете старики, которых кормить надо.

В первую голову засеял пшеницу, — не чернослив, не виноград, которые тут великолепно растут, а пшеничку «расейскую». Великолепная пшеница поднялась, литой колос. Вся семья над ней затаила дыхание. Дня через два снимать.

Да зачернелась над горами тучка, хлынул горный ливень, зашумели потоки, стали прыгать, снося деревья, валуны, — через четверть часа вместо пшеницы — исковерканное валунами черное поле. Никому в голову не придет, что тут густо золотилась пшеница, что тут вложен был бешеный труд. К самым коленам опустилась победная головушка. Кругом голодные детишки.

Разве написать, написать этого мужичка среди гор? Ему нет выхода — социального выхода; там, у себя, в Рязанской губернии, зубастыми губами сосет помещик, кулак, поп, становой; здесь, где он один на один с горами, с лесами, с скалами и ущельями, с морем, — здесь тоже его сосут, те же, — сосут тем, что отняли знание, науку, умение и навык бороться с незнакомой природой. Он социально прикован к своей сохе. Разве написать?

И бреду по сугробам снега, таскаю за спиной мешочек с мерзлой картошкой, везу на салазках дровишки.

Нет, нет... нет! Про «бедного мужичка» слишком много писали, — бедного, темного, забитого. И я слишком много писал его та-

ким. Ведь — революция. Ведь он же бешено борется на десяти фронтах, голодный, холодный, вшивый, разутый, в лохмотьях, и страшный, — как медведь ломит. Разве это то же?

Нет, я напишу, как оно, крестьянство, идет гудящими толпами, как оно по-медвежьи подминает под себя интервентов, помещиков, белых генералов. И опять встают скалы, сверкающие маковки, синей стеной море, оскаленные ущелья...

«Хорошо, но содержание, содержание-то какое? Какие события, каких людей я вставлю в эту обстановку?»

И почему крестьянина, прежнего мужика, почему его, его борьбу, его страдания, его победы? Почему я непременно хочу вставить в экзотику — в эти горы, в скалы, ущелья, в эти сверкающие вечные <нега, среди пальм и кипарисов у синего моря? Разве в такой обстановке он жил, несчетно работал, мучился и умирал?

*...ель да осина,
Не весела ты, родная картина...*

Вот его извечная рама.

Да, эта экзотика, эта солнечность, яркость, эти живые слепящие краски — все это неестественно для русского «мужика».

Больше всего я боялся, это — впасть в *красивость*, а тут было похоже.

И я опять встряхиваю головой, отгоняя столпившиеся картины, и опять либо в ядовитом дыму собрания всплывают и пропадают голодные лица, либо коченею в маленькой комнатухе замороженного завода, — бежит, траурно колеблюсь, хвост над керосиновой лампочкой, мертво белеют языки инея, пробившего стылые стены завода, и я, по поручению «Правды», агитирую рабочих сорганизовать кружки рабкоров. И опять спотыкаюсь в сугробах, таскаю дровишки на салазках, и всегда в животе аппетит старого голодного волка.

Глядь, — скалы, море, зубастые ущелья... Измучился!..

Понемногу в этой изнурительной борьбе с самим собой у меня в голове стало что-то оформляться. Хорошо. Я пуцую по этим горам, ущельям, вдоль моря по шоссе крестьянские толпы, которые не то спасаются, не то гонят

кого-то. Ну, а дальше? Не знаю.

У меня немало в прошлом рассказов, в которых события, люди, характеры, взаимоотношения навиваются вокруг движения. Едет ли герой на велосипеде, или на «Дьяволе», идут ли пешком, плывут ли на барже или на лодке, по мере движения разыгрываются события. («В пути», «Дьявол», «По родным степям» и др.). Для меня легче такое построение. Ладно. А тема? А содержание? А события?

Я стал жадно спрашивать товарищей, приехавших с фронтов гражданской войны, жадно записывал. Я услышал удивительные эпизоды. Передо мной развернулись удивительные картины потрясающего героизма, потрясающего напора, а я все ждал чего-то, чего-то другого и... дождался.

В Москве у меня был знакомый украинец, Сокирко, коммунист. Однажды, когда я у него сидел, к нему пришли трое. Один — веселый, белокурый и пел, должно быть, мягким голосом чудесные украинские песни. Другой — спокойный, все курил. Третий — как с отлитым из темной меди, замкнутым лицом.

— Ну, от вас таманьцы и расскажут про

свой поход по Черноморью, тильки пишите, — сказал Сокирко.

Сокирчиха заварила нам чаю, целую ночь просидели, и я слушал, слушал, пока под утро Сокирчиха нас не выгнала:

— Та спаты вже треба! Цилую ничь балакають, а у мени голова нэ держиться на шее. Геть, хлопцы, до дому!

И я шел по сугробам, живот голодно подтянуло, а голова была радостно переполнена: мне рассказали о походе Таманской армии как раз по тем местам, по Черноморью.

Таким образом Октябрьская революция наполнила кипучим содержанием столько лет мучивший меня могучий горный пейзаж, для которого я так долго не находил достойного сюжетного наполнения.

Меня словно осенило: «Да ты пусти на эти горные кряжи поднявшееся революционное крестьянство. Они же, эти бедняки-крестьяне, действительно тут шли, тут клали головы...» Сама жизнь подсказала мне: «Лепи этот „Железный поток“ — недаром тебя там носило, по этим самым местам. И крестьян этих ты хорошо знаешь...»

Я вообще смутно носил в себе вырисовывавшуюся для меня тему об участии крестьянства в революции.

Мы знаем из истории, что крестьянство многократно участвовало в революционных выступлениях, часто недостаточно организованно, анархической массой (разиновщина, пугачевщина, позднейшие бунты крестьян в разных губерниях). Но такие выступления не могли привести к утверждению революции. Социалистическая революция смогла окончательно победить, лишь когда во главе ее стал пролетариат. Бунт потрясал строй, но не сменял его другим. Революция же разрушила до основания старый строй и поставила на его место новый.

Но как же все-таки крестьянство пошло в нашу, Октябрьскую революцию? Одно дело представить это себе теоретически, другое — показать конкретные факты в художественных образах. Эта мысль страшно сверлила меня.

Я думал...

Крестьяне дрались с помещиками за землю. Дрались-то дрались, но что местами на

первых порах получалось? Были случаи на Украине: прогнали крестьяне помещиков, скот поразобрали, потом несколько волостей объединили и порешили: «Ну вот, это наше собственное государство, мы будем жить, никого касаться не будем, но и нас не касайтесь — ни большевики, ни меньшевики, ни красные, ни белые». Таких «самостоятельных государств» было несколько. Я и думаю: «Ну, хорошо, а как же все-таки революция создала изумительную армию из тех же крестьян, которые не хотели знать ни красных, ни белых, — армию, которой крепко руководил пролетариат?»

Конечно, главной движущей и организующей силой революции является пролетариат, однако Октябрьскую революцию он совершил не один — он сумел толкнуть на борьбу громаднейшую массу крестьянства.

Если бы рабочий класс в революционной борьбе оказался один, он был бы разбит, как это мы видели в предыдущих революциях. В Октябрьской революции крестьянство помогло пролетариату, и поэтому Октябрьская революция победила.

Дореволюционное крестьянство по самому складу своему — класс совсем иной, чем рабочий класс. Рабочий выкован производством, он всей своей жизнью, так сказать, подготовлялся к революционной борьбе, у него нет никакой собственности.

Крестьянин же, которого я должен был показать в «Железном потоке», являлся собственником: у него и коровка, и лошадка, и земляца, и изба. Крестьянин этот являлся хозяйчиком, пусть маленьким и захудалым, но хозяйчиком, — и это коренным образом его отличало от рабочего и ставило его в совершенно иное положение по отношению к нашей революции. Ему, правда, тяжело жилось, но он думал примерно так: «Хорошо бы спихнуть помещика и взять себе его землю; хорошо бы у помещика забрать инвентарь, пару коров, пару лошадей да плуг, и больше ничего не нужно — буду жить, богатеть, приумножать». Вот какой был строй мысли у этого мелкого собственника. И когда грянула революция, часть крестьянства во многих местах поднялась во имя того, чтобы поскорее спихнуть помещика и загрести себе его добро, а о

дальнейшем развитии революции оно в подавляющем большинстве мало думало и не представляло себе, что и как придется идти дальше.

Как же все-таки крестьянство при таком складе мыслей двинулось в революционную борьбу, в конце концов сорганизовалось в колоссальнейшую и удивительную Красную Армию, которая доставила победу пролетарской революции?

Объективный ход истории заставлял крестьян идти в революцию плечо в плечо с пролетариатом. И только при этом условии крестьянство смогло окончательно свалить помещиков. Я искал для «Железного потока» материал, который дал бы мне возможность показать крестьянство во всех его проявлениях. Меня занимало, как бы это все изобразить художественно, и я искал материал, который с наибольшей яркостью характеризовал бы революционную силу крестьянской массы и показал бы, как пролетариат направляет эту силу по своему пути.

Материала на тему о гражданской войне у меня накопилось много. Мне рассказывали

товарищи, приезжавшие из Сибири, поразительные картины, среди них более яркие и более трагические, чем те, которые описаны в «Железном потоке». Однако, продумав их, я все-таки не мог остановиться на этом материале и вот почему. Ведь требовалось нарисовать полотно, которое дает обобщение, в отдельных картинах выразить что-то общее, пронизывающее все одной идеей, которая осмысливает эти отдельные картины.

Когда трое таманцев рассказали мне о своем походе, я почувствовал, что это как раз и есть нужный мне материал. И я, не колеблясь и долго не раздумывая, остановился на отступлении громадных масс бедноты из Кубани, где поднялись против Октябрьской революции зажиточные кулацкие слои. Крестьянская и казачья беднота и разбитые части советской армии двинулись из Кубани на юг, на соединение с советскими войсками Северного Кавказа. Крестьянской массе пришлось поневоле отступать: зажиточные казаки стали резать бедноту, сочувствовавшую советам. Но уходила эта бедняцкая масса крайне беспорядочно. Она была путаной и неорганизован-

ной, не хотела подчиняться командирам, которых сама же выбрала.

В походе столько страданий и мучений перенесли отступающие, таким страшным для них университетом был поход, что к концу его они совершенно преобразились: голые, босые и измученные, голодные, они сорганизовались в страшную силу, которая смела все преграды на своем пути и дошла до конца. И когда она прошла через эти страдания, через эту кровь, отчаяние, слезы, у нее раскрылись глаза; тут она почувствовала: да, единственное спасение — советская власть. Это не было еще сознательное понимание, как у пролетариата, крестьянская масса действовала во многих случаях инстинктивно.

Я уцепился за рассказ таманцев о своем походе, так как, на мой взгляд, этот поход все-сторонне отображал именно такое преобразование крестьянства. По рассказу таманцев так и выходило: вначале это была анархическая масса, мелкобуржуазные хозяйчики, — потом ценой напряжения, страшной борьбы, слез, крови она перерабатывалась, революционно преображалась, и под конец похода это

была уже та революционная масса, то революционное крестьянство, которое помогло рабочему классу.

Как раз то, что мне нужно было для «Железного потока».

Передо мною все явственнее, все осязательнее разворачивалась тема. Однако рассказов таманцев мне было мало; хотелось узнать как можно больше подробностей; хотелось возможно более объективного изложения. Я стал искать встреч с другими участниками похода и вскоре отыскал еще одного из участников похода — рабочего, который шел рядовым бойцом. Он мне тоже много интересного рассказал.

Но когда слушаешь, всегда учиываешь, что рассказывающий о своей жизни неизбежно все освещает со своей особой точки зрения. Я разыскал поэтому еще других товарищей, которые участвовали в походе, и учинил им, так сказать, перекрестный допрос. Послушаю, что один расскажет, а потом переспрошу о том же другого, третьего, десятого. Затем мне удалось еще добыть дневник, — один рабочий вел записи во время этого похода, — и

вот таким образом, сличая показания разных участников похода, я создал в своем воображении картину этого движения.

Надо заметить, что таманская масса дошла не только до пункта, где я их оставил в «Железном потоке», они двинулись и дальше, до Астрахани, но я прекратил повествование раньше. Почему? Да потому, что задача моя была окончена. Я взял анархическую массу, не подчинявшуюся, каждую минуту готовую посадить на штыки своих вожаков. И через страдания, через муки провел их до конца, до тех пор, пока они не почувствовали себя организованной силой Октябрьской революции. Для меня этого было достаточно. Моя задача выполнена.

Почему материал именно этого похода мне так приглянулся? Я хорошо знаю Кубань: она граничит с Донской областью, моей родиной. У них очень много общего: и в населении, и в природе, и в социальном укладе. У нас, на Дону, половина населения — украинцы. Правда, говорят они не на чистом украинском языке, как в Полтаве, а на жаргоне. На том же жаргоне в значительной степени го-

ворит и Кубань. На Кубани я жилал. Черноморье еще до войны избородил на мотоцикле, хорошо знал и природу и людей. Поэтому, когда мне надо было дать характеристику, дать типичных представителей этого населения, вроде бабы Горпины и ее деда, мне это было не так трудно. Впрочем, я еще раз поехал к описываемым местам во время самой работы, чтобы восстановить в памяти обстановку края, пейзаж, людей.

Из каких же элементов сложился материал? Рассказы таманцев были положены мною в основу. Это был первый материал, — материал со слов. Затем я использовал еще материал записей, дневники и письма участников похода. Третий источник материала — печать, — правда, здесь я нашел немного.

Вот три источника получения материала.

Как же я работал над ним?

Начал я писать «Железный поток» в 1921 году, а в 1924 году он вышел из печати. Я, следовательно, писал его два с половиной года. Писал разбросанно, кусками. Не так, чтоб с начала, с первой главы начал — и до конца по порядку. Нет. Помню, прежде всего напи-

сал хвост, последнюю сцену митинга. Меня мучил этот конец — митинг. Стояла передо мной эта баба Горпина такой, какой она выросла. В заключительной сцене для меня сконцентрировался весь смысл вещи. Она, эта сцена, необыкновенно ярко горела у меня в мозгу.

Я ощущал конец, этот митинг в степи, когда таманская армия встретилась с Красной Армией, как заключительный аккорд, как разрешение всей темы. Я много раз его переделывал, так как здесь — я мыслил — сосредоточен главный психологический удар по читателю. Я считал, что если эта последняя часть произведет на читателя нужное мне впечатление, задача, поставленная при написании «Железного потока», с моей точки зрения, будет разрешена.

Сцену митинга я написал сразу, а потом почувствовал, что то тут, то там нет сосредоточенного удара, сжатости, ясного и сильного проявления отдельных героев, проявлений, которые характеризовали бы их внутренний строй, их внутреннюю переделку, как, например, у бабы Горпины, Мне пришлось очень

много работать над каждым персонажем, например, над той же бабой Горпиной, стариком ее, а также и другими. Каждый отдельный момент заключительной картины я переворачивал так и сяк, подыскивал фразы и слова, при помощи которых получилась бы сжатая и в то же время сильная картина.

Нужно было как-то гармонично связать обстановку, пейзаж со сценой митинга. Над этим пришлось усиленно работать. Хотелось сделать так, чтобы пейзаж не стоял особняком от разворачивающихся событий, а органически сливался с настроениями, с внутренним состоянием пришедшей армии, гармонировал бы с ними и помогал раскрывать замысел автора.

Вслед за концом я написал начало, которое также подверглось усиленной обработке. Начало и конец органически связаны. В первой главе начинается процесс, в последней этот процесс заканчивается психологическим напором на читателя. В конце и начале заключалась вся сущность вещи. И начало и конец, чтоб они получились согласованные, пришлось много раз переделывать, так как нуж-

но было дать общую гармоничную картину настроения масс и отдельных лиц, а также пейзаж, укладывающийся в рамки событий. Прежде чем я этого достиг, пришлось много и упорно поработать над каждым кусочком в отдельности.

Когда конец и начало были уже готовы, нужно было их соединить. Конец и начало ярко стояли в голове, и легче мне дались, а середина далась гораздо труднее. Пришлось все время обдумывать, как создать самую ткань повествования. Середину я писал кусками: то одну сцену напишу, то другую, по мере того как они складывались в сознании. Несмотря на то, что в голове вся тема держалась полностью, почему-то не все сцены вставали с одинаковой яркостью, они не шли гуськом, вслед, в порядке друг за дружкой. Куски я потом постепенно склеивал и переклеивал, а когда склеил окончательно, то заново переписал весь роман сплошь. Переписал, потом по частям стал перерабатывать; возьмешь один кусок, переработаете и вставишь. Мне все казалось — недостаточно четко, недостаточно выпукло. В голове все вырисовывалось,

как мне казалось, чрезвычайно ярко, отчетливо: лица, движения, горы, море, а, глядишь, на бумаге выходит не то. Писал и перерабатывал произведение с напряженным трудом.

Мне хотелось дать повествование, возможно более близкое к живой действительности, поэтому я старался целиком брать материал из рассказов, из записей. Однако я предпочитал брать материал, дающий известное обобщение. В этих целях приходилось вносить элементы выдумки. Часто я принужден был жертвовать некоторыми рельефными чертами, характеризующими быт, отношения с близкими и т. д. Образ, благодаря этому, отходил от живой модели.

Это я делал умышленно, чтобы сосредоточить впечатление на определенной стороне характера героя. Я предпочитал отчетливо выявить одну наиболее важную сторону характера, а если бы я обрисовал героя со всех сторон, то эта наиболее характеризующая сторона его значительно ослабела бы. Например, баба Горпина: в ней я сосредоточил основную идею перерождения под влиянием революции крестьянской бедняцкой массы.

Это — тип собирательный, сделанный на материале, который у меня был раньше. Для подлинного похода он выдуман и нарочито вплетен в ткань произведения; так как мне нужно было дать крестьянина и крестьянку, сначала индивидуалистов, собственников и потом показать их перерождение к концу похода. Именно эта черта Горпины была для меня самой важной. Ее я и выпятил.

Я ставил себе задачей — дать реальную правду; но правду, конечно, не фотографическую, а правду синтетическую, обобщенную. А раз так, то смазывать происходившее никак нельзя было, нельзя было разукрашивать людей: есть жестокость — жестокость, можно сказать, звериная, но эта жестокость — я старался это убедительно показать — оправдывается необходимостью, всей обстановкой, всем течением событий. Пусть звериное, но пусть таманцы будут такие, какие они были в жизни. Конечно, они вовсе не звери, но когда их поставили в положение, при котором они должны рвать клыками направо и налево-иначе им пропадать, — тогда и звериные инстинкты вырвутся.

Я, как художественный летописец, просто не считал себя вправе смягчать, вуалировать, прикрашивать.

Вывожу я, впрочем, за костром паренька мягонького, рыхлого. На него все и окрысились: идет смертельная классовая борьба, так третий не суй нос в дверь, а то оттяпаем. Эта сцена дает понять, что не потому таманцы жестоки, что они звери, а потому, что находятся в таком положении, а не в ином.

Надо учитывать, что я пытался в «Железном потоке» очертить синтез борьбы жесточайшей, борьбы небывалой, не на жизнь, а на смерть. Мать любит ребенка, а его шрапнель кладет на месте... Любовь тут глубоко схоронилась, но она неистребимо живет в человеке. Матери, например, бьют своих детей, чтоб они шли дальше, но ведь понятно — бьют из любви к детям. Потом, например, когда колонны проходят мимо пятерых повешенных, измученные люди сразу преображаются. В чем дело? Повешены их братья! Разве это не любовь? Любовь! Но я пуще всего боялся малейших оттенков сентиментальности. Эти пятеро повешенных так точно в действительности

сти висели. Мне рассказывали, что командование нарочно повело таманцев мимо виселиц, чтобы они видели, что белогвардейцы делают с их братьями. И они ломились потом на врага стеной. Это и есть любовь: не толстовская, конечно, беспомощная, непротивленческая, а такая, какую она только и могла быть в революцию: любовь — не, жаление, а любовь — подвиг, любовь — самоотверженность, любовь, зовущая. идти бить своих классовых врагов.

Вообще же в «Железном потоке» у меня выдумки мало. События в большинстве случаев представлены так, как были. Отдельные эпизоды нарисованы с очень незначительными изменениями. Например, история с граммофоном. Она придумана для того, чтобы усилить впечатление. Перед перевалом через горы, народ шел словно одержимый; страшно было смотреть. Я долго подыскивал такую художественную форму, которая бы наиболее полно выражала состояние умопомраченной массы. Написать просто: «Они были возбуждены, с блестящими глазами» и проч. мне не хотелось: уж очень это шаблонно и поэтому

мало действует на читателя. Тут-то я и придумал историю с граммофоном. В отряде действительно имелся граммофон, и он в течение всего времени действовал. Но не было того потрясающего момента смеха, о котором я написал. Я это выдумал для того, чтобы нарисовать наиболее ярко и напряженно состояние обезумевших людей.

Еще о подлинных фактах и о выдумке. Возьмем сцену митинга — концовку произведения. Конечно, никакая баба Горпина не говорила именно так. Здесь опять-таки понадобилось подыскать такую форму резкого, ударного, впечатляющего рисунка, которая сделала бы ясным резкий перелом в психологии собственника-индивидуалиста, ставшего к концу похода сознательным борцом за новую жизнь.

Я настолько близко держался подлинности событий, что есть в «Железном потоке» места, которым читатель не всегда верит. Например, мордобой между казаками и солдатами. У тех и других есть оружие, а они не пускают его в ход: кинулись в кулаки. Я считал нужным изобразить сцену именно так, пото-

му что между казаками и иногородними существовали очень сложные взаимоотношения. С одной стороны, это — враги. Вражда их выросла из того, что одни владели землей, другие же ее не имели. А с другой стороны, эти враги — соседи. Часто они — близкая родня, женятся друг на друге, учатся в одной школе, ребяташками играют вместе, — у них самая кровная связь. Поэтому не удивительно, что и методы борьбы у них колеблются: то они расстреливают друг друга, то бьют друг другу морду. Эта сложность их прежних отношений и отражена в книге.

Отбор фактического материала я подчинял основной идее, основной линии, основной мысли, вокруг которых навивался весь художественный материал, — это реорганизация сознания массы. Материал, даже хороший, даже яркий, но не продвигавший каждый раз основную линию, основную мысль вперед, я отбрасывал. Требовалось быть очень экономным. Если бы я брал материал, исходя лишь из оценки его яркости, то основная мысль, основная идея потускнели бы, заслонились бы обилием материала. Несмотря на строгий от-

бор его, у меня в середине произведения есть все-таки некоторые длинноты, я не сумел их избежать.

Как композиционно я строил «Железный поток»? Как приводил в столкновение героев? Я стремился органически связать начало и конец, дать ряд событий, ряд действий, которые нарастали бы в ходе повествования и которые должны были последовательно-фабульно вести от начала к концу. По этому принципу и построена вся вещь.

Героев я приводил в столкновение постольку, поскольку в их психологии, и в их настроениях, в их целях внутренне рождалась и зрела необходимость этих столкновений. Возьмем, например, Смолокурова. Этот герой «Железного потока» — славный парень, революционно настроенный, отличный митинговый оратор, но он расплывчатый человек, полная противоположность Кожуху. Смолокуров не всегда знает, чего хочет. Идет иногда на поводу у других. Его столкновение с Кожухом построено на его внутренней неорганизованности. Между этими совершенно разными героями не может не родиться кон-

фликт, — и это должен ясно уразуметь читатель. Точно так же и с Кожухом. Например, его столкновение с матросами. Эти столкновения, с одной стороны, рисуют внутреннюю структуру, психологию матросов, а с другой стороны — психологию Кожуха. Крепкий, твердый, не останавливающийся перед препятствиями, он уверенно ведет свою линию и этим влияет и на матросов.

...Сознательно ли я избрал формой «Железного потока» эпопею? В основном я себе более или менее отчетливо представлял, как должно пойти развитие действия. По мере работы над произведением форма его, конструкция, делалась для меня все яснее и яснее. Костяк был планомерно детально разработан заранее. Но помимо основного материала, у каждого из нас, писателей, как на складе, где-то в подсознании хранятся накопленные опытом слова, фразы, которые в нужный момент вытаскиваешь и начинаешь разрабатывать. Я затрудняюсь сказать, с какого момента, как и почему «Железный поток» четко вырисовывался мне именно как эпопея.

Можно ли героические события нашей

жизни укладывать в обычные формы повествования (роман, повесть, рассказ)? Я лично думаю, что не только, можно, но и нужно. Это зависит, впрочем, от индивидуальности писателя. Мое произведение, конечно, выиграло бы, если бы я дал более широкое полотно, обрисовав и бытовые черты героев. В сущности говоря, персонажи «Железного потока» мало разработаны. У них оттенены только ударные стороны. Если бы я дал большое полотно, разработал бы бытовые черты, показал человека со всех сторон, — вышло бы что-то вроде «Войны и мира» советского времени. Но мне, по-видимому, было не под силу справиться с такой широтой художественного охвата, и поэтому я отметил все, что в обстановке похода не служило основной цели яркого освещения коллективных стремлений и общих переживаний массы.

Всесторонне осветить тогдашнего борца за новый мир я не мог еще и потому, что писал по свежим следам событий на маленьком окраинном участке огромного фронта. Теперь, когда я оглядываюсь на гражданскую войну и охватываю ее значение во всей ее

необъятной шири, она мне представляется иной, чем тогда. Я описывал отдельный поток, смутно лишь представляя себе, в какой бушующий океан вскоре сольются эти октябрьские потоки.

Мне хотелось бы остановиться на значении художественных деталей и на вопросе о том, какую роль они сыграли в произведении. Например, партизаны были одеты в отрепья: я беру эту деталь, и не один раз, а несколько раз. Чтобы хорошенько довести ее до читателя путем противопоставления, делаю ярче основную деталь. Желая оттенить, в каком положении были грузинские солдаты, погибавшие от холода, я описываю параллельно одежду грузинских офицеров, которая была совсем иной. Я стремлюсь выпуклить эти детали, чтобы они не только изображали факты, но и помогали раскрывать внутренний строй человека, взаимные отношения людей. Взять хотя бы тот факт, что грузинские офицеры были накормлены, а солдаты голодны. Эти детали должны были характеризовать в известной мере и классовые отношения в тогдашней Грузии.

В «Железном потоке» есть одна частности. После боя с грузинами некоторые командиры таманской колонны внешне преобразились. Они оделись, воспользовавшись военной добычей. Думаю, что это следовало изобразить. Люди были раздеты и разуты, и такие детали больше характеризуют положение, чем отдельные люди.

Таким образом я пытался подчинить детали общей идее произведения и сделать так, чтобы не просто, произвольно приклеивать детали, а в меру возможности связывать их с внутренним состоянием людей, делать их дополнительным штрихом в характеристике создавшегося положения и умонастроения.

Мне хотелось еще дать какой-то юмор, свойственный данной массе украинцев, которые в самых тяжелых условиях умеют находить в жизни юмористические моменты. Для этого я ввел эпизод с переодеванием в дамские панталоны. Это — тоже деталь, характеризующая массу. Тут не грабители, — ведь они сумели взять эти принадлежности туалета весело, со смешком. Я считал нужным ввести этот эпизод, несмотря на то, что по кон-

струкции романа достаточно освещены теневые стороны массы.

К концу 1923 года я закончил «Железный поток». Отнес в одно издательство, поглядели: «Да, знаете, большая вещь... да нет, не возьмем, еще провалишься с ней». Так и не взяли. Тогда я отнес рукопись в альманах «Недра». Там ухватились. С того времени «Железный поток» понемножечку и пошел...

После выхода «Железного потока» мне не раз приходилось встречаться с некоторыми участниками похода. Они рассказывали мне интересные вещи: большая часть партизан погибла в боях, а некоторые возвратились на Кубань и стали там хозяйствовать. Привезли туда несколько экземпляров «Железного потока». Участники похода прочитали и говорят: «А товарищ Серафимович в какой части у нас был?» Значит, правдиво написано...

Вскоре после появления его в печати покойный академик Лебедев-Полянский в «Красной нови» дал хороший, толковый отзыв. В общем, советская критика отнеслась к роману весьма положительно. Не могу не отметить глубокий и умный анализ «Железного

потока», данный покойным писателем Д. Фурмановым. Некоторые критики, однако, указывали, что недостаточно даны пейзаж, природа. Другие, наоборот, говорили, что природа занимает слишком много места. Я же думаю, что природа дана в меру. Больше не следовало давать, потому что иначе это разжижало бы события, и меньше тоже нет.

Как встретила рабочая масса «Железный поток»?

В подавляющем большинстве случаев это произведение принималось рабочими хорошо, Я на собраниях в этом убедился, получая многочисленные записки и письма. Записки я собирал (для характеристики аудитории) в Москве, Ленинграде, Горьком, Туле, Сталинграде, Ворошиловграде (Донбасс), Свердловске, в Архангельске, Вологде и во многих других городах. Большинству нравится, увлекаются даже. Один рабочий писал: «Прочитал — и знаете, так кулаки и сжались. Черт их дери, белую свору! Буду их бить направо и налево».

Те, кто пережил гражданскую войну, высказывались, что очень правдиво. Говорили: «Я был на гражданской войне, как раз оно —

то самое».

Доступен «Железный поток» по форме, по рисунку, по языку.

Но были и другого характера отзывы, хотя в очень незначительном количестве. Так, например, в Ленинграде я выступал несколько раз на Кировском заводе. Там, кстати сказать, очень хорошо были организованы отзывы рабочих. Отзывы давались не экспромтом, не в момент чтения. Объявили культработники за месяц до моего приезда: «Вот-де, товарищи, берите книги Серафимовича, подготовьтесь хорошенько и, когда прочитаете, давайте отзывы». И вот писала работница двадцати пяти лет: «Скучная вещь, как-то мало понятно». Еще было в Ленинграде таких отзывов дватри. В Горьком тоже среди положительных отзывов мелькали и отрицательные. Выступает, например, рабочий, — длинный у него в руках манускрипт такой, — и говорит: такие вот и такие неправильности, несвязности. Заведующий библиотекой рабочего клуба тоже привел несколько отрицательных отзывов рабочих. Некоторые писали мне: «Скучно», некоторые «Непонятно».

В целом, однако, «Железный поток», по-видимому, хорошо оценивается рабочим читателем. Один молодой рабочий в Ленинграде рассказывал так: «Знаете, мне все говорят: „Прочти да прочти „Железный поток““. Ну, лезли ко мне... Как-то товарищ принес однажды книжку. Я не хотел ее читать, но потом начал. Так знаете, всю ночь не мог оторваться. Надо утром на работу идти, пришлось прервать. Потом, как кончил работу, выскочил из завода, полетел, опять засел читать, пока не кончил“. Это рассказывал молодой комсомолец. Старики тоже хорошо отзывались.

Приезжавшие из разных стран товарищи рассказывали мне, что зарубежные рабочие читают „Железный поток“ с интересом и говорят, что написано хорошо и что они почувствовали, как шла Октябрьская революция в Союзе Советских Социалистических Республик; газетные статьи не давали им такой живой картины нашей борьбы. В „Железном потоке“ они почувствовали колоссальнейшую стихийную силу крестьянства, которую организует и направляет по своему пути пролетариат.

Очень любопытны также отзывы буржуазных газет. Буржуазные читатели в первые годы появления „Железного потока“ за рубежом страшно изумлялись: вот, мол, чудеса! Совершенно для них неожиданно оказывается — художники-коммунисты умеют художественно писать. Они, по-видимому, воображали, что мы ходим в лаптях, едим сальные свечи и т. д. — так в начале 20-х годов буржуазия писала о нашей культуре. В общем, книга имела явный успех и за границей.

Мне и в письмах и в записках во время моих выступлений на заводах, в воинских частях и пр. задавали много вопросов о „главном герое“ моего произведения — Кожухе, Как я его лепил, что, он собой выражает, какие идеи я воплотил в его образе.

Один из товарищей спрашивал, является ли Кожух главным героем, или, может быть, „Железный поток“ — роман безгеройный, может быть, в нем нет главного героя?

На это я отвечал. Кожух — герой и не герой. Он не герой потому, что если бы его не сделала масса своим вожаком, если бы она не влила в него свое содержание, то Кожух был

бы самым обыкновенным человеком. Но в то же время он и герой, герой потому, что масса не только влила в него свое содержание, но и шла за ним и подчинялась ему, как командиру. Вспомним, например, каким обтрепанным и рваным он всегда ходил, ничего не позволяя себе взять, в то время как его командиры прекрасно оделись. Он постоянно чувствовал на себе взоры массы. Отнимите от него массу, и пропадет весь его ореол.

В другой записке меня спрашивали:

— Почему мало выявлена личность Кожуха?

До известной степени я, может быть, это сделал инстинктивно, а в некоторой мере и с расчетом: я не хотел дать штампованного, избитого героя, на коне ведущего вперед эти самые массы, а я хотел его дать простым, но деловым, умным и строгим командиром, сросшимся с массой.

А вот еще записка:

— Почему Кожуху придается такое большое значение?

Нет, где уж там... Если бы я придавал слишком большое значение Кожуху, так я бы

сделал большую художественную ошибку. Это — неправда. По-моему, большого значения Кожуху в романе не придается, — наоборот, я именно и пытался показать, что в Кожуха вливает свое содержание масса, что без нее он самая заурядная фигура.

Один ленинградский товарищ спрашивал:

— Почему вожаком взят офицер Кожух? Как будто нельзя было взять героем кого-нибудь из крестьян?

Конечно, можно было бы, и такие примеры в жизни бывали. Простые солдаты, крестьяне во время гражданской войны в Сибири и в других местах чудеса делали: Но я все-таки остановился именно на Кожухе, на офицере, потому, что мне показалась его роль очень характерной. Именно это самое офицерство, вернее, производство в офицеры, выковало из Кожуха жесточайшего врага помещиков и их представителей — офицеров. Это было настолько характерно, что я остановился именно на этой интересной фигуре офицера из народной толщи.

Другой товарищ писал мне:

— А в „Железном потоке“ вот какое проти-

воречие: Кожух, мол, показан вами человеком, который не гоняется за славой; он дескать, и собой жертвует, и как будто интересуется он не тем, чтобы его похвалили и чтобы славу себе создать, а чтобы освободить массу, — он действительно борется за идею. А тут же в „Железном потоке“ есть рядом страницы, в которых говорится, что Кожух боялся, что его слава может померкнуть.

Нет, по-моему, противоречия тут нет никакого, ибо ведь людей нельзя представлять себе, выкрашенными одной краской. Вы возьмите честнейшего, благороднейшего революционера, который отдает всю жизнь за революцию. Если вы мне скажете, что у него в душе нет ни зерна честолюбия и т. д., то я скажу вам, что это не верно. Есть это зерно, оно живет в каждом человеке! Весь вопрос только в размерах. У Кожуха на протяжении романа честолюбие постепенно сошло на нет, а готовность отдать себя революционной борьбе выросла в огромной степени. А бывает наоборот: честолюбие разрастается, а желание отдать себя понемногу суживается. Людей надо брать такими, какие они есть, со всеми их

внутренними противоречиями. Тогда это будет правда и правда поучительная, особенно в художественном произведении.

Указывали мне еще и на другое противоречие: Кожух, мол, хотел пороть солдат, а своих офицеров он не тронул... Опять-таки противоречия тут нет, и я повторяю еще раз: плох тот художник, который рисует людей, как на лубочных картинках дореволюционного времени: солдаты все одинаково ноги поднимают, по ногам мазнули синей краской, по груди — красной, по, лицу провели желтой краской — и все. Нельзя так — это не художественно.

Человек сложен и противоречив. Кожух хотел пороть солдат, а на своих помощников у него рука не поднималась: начни их драть, а они, может быть, и скovyрнут его. Здесь он боится не только за свою шкуру, но и за все дело. Я вовсе не хотел изобразить Кожуха идеальным человеком. Таких людей нет на свете.

Две записки относительно матросов, показанных в „Железном потоке“:

— Почему матросы выведены контрреволюционерами?

— Матросы выведены как бандиты, — это

неправильно.

На это необходимо ответить.

Из песни слова не выкинешь, а я, работая над „Железным потоком“, больше всего боялся неправды, лакировки. Все мы отлично знаем, что в царской армии и флоте матросы были революционным элементом. Во время Октября они бесстрашно шли в революционную борьбу и погибали массами, а тут вдруг, — пишут мне, — „такая музыка“. Но, видно, революция не идет по ровной дорожке, в революции масса всяких отклонений, внутренних противоречий. Это сказалось, в частности, и на матросах. Они отдались революции и клали головы без колебаний. Но вот когда в Новороссийске матросы топили флот, который по Брестскому миру надо было передать немцам, они, по общему согласию, вынули из корабельных касс деньги, которых много было на каждом корабле, и поделили поровну между собою. Потом они закупились, стали пить, гулять с девчатами; деньги у них сыпались, как из мешка, они как будто старались от них скорее отделаться. Это даром не прошло: матросы стали разлагаться, и когда началось

контрреволюционное восстание казаков и громадная масса беженцев стала уходить, матросы почуяли, что их всех до одного пере-режут кулаки. Часть матросов осталась в Новороссийске, и офицеры их живыми закапывали в землю; другая часть матросов влилась в таманскую колонну и стала разлагать ее, и это разложение, как смерть, все время ослабляло таманцев.

Эти матросы не были злонамеренными контрреволюционерами, но не было у них достаточного сознания, что Кожух поступает правильно, устанавливая железную дисциплину. Матросы стали бузить, разводить демагогию: Кожух, дескать, был офицером и пр. И матросы даже хотели убить Кожуха. И только под конец, когда они увидели, что были неправы, они всенародно покаялись.

Всегда надо иметь в виду, так сказать, „издержки революции“. Ведь, бывало, и старые партийцы разлагались. И тут тоже целая прослойка действительно революционных матросов разложилась. У меня ведь дается обоснование: у них была масса денег, а главное, их портила бездеятельность. Не было у них

приложения сил, по крайней мере в таком деле, в котором они оказались бы на месте. Вот когда раньше раздавался клич: „Дави, руби!“, „На митинг!“ — это их заполняло. Потом все схлынуло. Некуда было энергию девать.

Конечно, этого никак не скажешь про матросов Кронштадта: среди них выступали настоящие старые большевики. Мне, впрочем, рассказывали, что часть матросов стала потом в таманской колонне в строй. Вот эту здоровую часть действительно надо было отметить, выделить. Я этого в „Железном потоке“ не сделал, и в этом моя ошибка...

Главным образом от представителей малых народностей Кавказа, а также из других мест Советского Союза я получил умного писем, в которых читатели высказывают резкое недовольство моей обрисовкой роли грузин: я будто бы нарисовал их „трусами“, „плохими вояками“. Это, конечно, в корне неверно. Какие бы то ни были оттенки „шовинизма“ и „великорусского зазнайства“ мне всегда были чужды. Я в данном случае отобразил то, что происходило в действительности, без злого умысла.

Участники похода единодушно свидетельствуют, что казаки дрались упорнее, чем грузины. Грузины, действительно, сравнительно слабо сопротивлялись, но, конечно, не потому, что они „плохие вояки“, а главным образом потному, что не знали, *за что*, собственно, дерутся. Кроме того, они, хоть и глухо, все же слышали, что в Советской стране крестьяне получили землю. Это до Грузии смутно доходило, и поэтому у грузинских солдат в глубине сознания копошились сомнения: нужно ли воевать, против Советов. Они еще были к тому же страшно голодны, подвоза не было. Черноморское побережье всегда питалось подвозом, а море было отрезано. И в то время как грузинские солдаты страшно голодали, хотя и были великолепно экипированы союзниками, офицеры грузинские хорошо ели. Конечно, на боеспособность грузинской армии это оказывало влияние. Вот в чем кроется главная причина того, что они слабо дрались.

А что грузинский офицер улепетывал, то в его положении всякий бы улепетывал. Ведь и генерал Покровский в одной рубашке выскочил, высадив раму. У них положение та-

кое создалось: или беги, или ложись сейчас под штыки.

Я не в том смысле хотел дать эту сцену, как она была истолкована некоторыми критиками и читателями. Я стремился показать, что грузины были ошеломлены неожиданностью нападения. Их загипнотизировало зрелище свалившихся на голову таманцев. Они считали свою позицию неприступной. В сущности говоря, шаг Кожуха был в известной мере авантюристичен. На него можно было решиться только с отчаяния. Не полезь таманцы, их бы всех перебили. Им некуда было деваться. А был ничтожный шанс ночью одним ударом сшибить врага, — и таманцы этого достигли.

Но я, видимо, недостаточно развил темпы движения и недостаточно нарисовал обстановку. Так ясно представлялось в голове, а до некоторых читателей не доходит или доходит не в том разрезе и не в том строе. У меня ведь указано, что, когда грузины стали отступать, около собора осталась их рота, которая героически умирала. Но тут получилась какая-то несоразмерность, и потому некоторым чи-

тателям кажется, что грузины плохо сражались.

Мне еще много говорили насчет „крепких слов“. Каюсь, я грешен. Помню, как в дореволюционное время в журнале „Русское богатство“ один талантливый писатель дал рассказ из казачьей жизни на Дону: казак ушел на службу, казачка, его жена, молодая, красивая, полюбила другого. Известно, чем это кончается? Она забеременела и сделала аборт самыми ужасными средствами. Для того времени это было очень характерно. Однако „благородные“ читатели и особенно читательницы „Русского богатства“ возмутились. В редакцию посыпалась масса протестующих писем и даже отказов от подписки. Письма были примерно в таком роде: „У меня дочь восемнадцати лет, из журнала она может узнать, что на свете существует аборт и т. п.“.

Ну, как вы думаете, эти читатели были правы? По-моему, они были не правы. Конечно, только восемнадцатилетние институтки не знали ничего об аборте, казачки же росли в других условиях. Что же, прикажете „поблагородному“ жизнь давать, или так, как

она есть?

Нет! Жизни бояться нечего, и нечего бояться самых мерзких ее сторон. Надо поставить только одно условие: если писатель пускает „крепкое слово“ или описывает какую-нибудь фривольную сцену только для того, чтобы нервы читательские пощекотать, то на это он не имеет никакого права. В этом случае читатель вправе бросить писателю самый горький упрек... Но если то или иное крепкое слово неразрывно связано со всей тканью художественного произведения, если оно подчеркивает ту или иную черту в изображаемых людях, тогда прав писатель.

От писателя надо требовать, чтобы он прежде всего был правдив, чтобы он не боялся жизни, а брал все, что в ней есть, но брал это не для того, чтобы пощекотать нервы или доставить нам минутное удовольствие, а для того, чтобы читатель самую жизнь прощупал, все ее язвы и гнойники.

Спрашивали меня во многих письмах и во время моих выступлений в разных городах, почему я ввел украинский язык? Некоторые говорят, что это делает „Железный поток“

непонятым, неудобочитаемым.

Не так уж, по-моему, это непонятно. Я не ввожу чистого украинского языка, я даю тот говор, который держится в Донской области и на Кубани. Это очень своеобразный украинский язык, и я думаю, что он передает характер местности и, в общем, усиливает правдивость изображенной картины.

Скажешь по-украински, и как-то сразу чувствуется образ, который хотел показать. Однако, мне кажется, что, несмотря на это, картина, показанная в „Железном потоке“, является типичной для всего нашего крестьянства в начале Октября. Конечно, Союз наш так велик, что крестьянин Северного Кавказа, Кубани отличается, разумеется, от сибиряка или от крестьянина северо-двинского или центральных губерний по говору, по обычаям и т. д., но внутренне — это один и тот же социальный тип.

Невзирая на то, что в „Железном потоке“ диалог дается большей частью на украинском жаргоне, очень мало рабочих жаловались, что им непонятно. „Чего и не знаешь, — говорили они, — так догадаешься“. Зато ква-

лифицированные читатели из кругов советской интеллигенции говорили, что украинская речь придает роману большую колоритность. Из этих соображений я ее и оставил.

Самым трудным местом в построении „Железного потока“ и вообще в моей литературной работе была недостаточная теоретическая подготовка. Я, пожалуй, больше других писателей, вышедших из рабочей и крестьянской среды, был подготовлен к литературной работе: и школа меня больше подготовила, и в окружении я был более культурным. Но организовано учиться, как строить литературное произведение, я научился очень поздно. Я ощупью к этому подходил. Я читал, скажем, классиков, как большинство читает. Читаешь и думаешь: „Как хорошо“. С захватывающим интересом следишь, как развивается повествование, а как построено произведение, как подобраны, как обрисованы типы, как даются события, это все упускаешь.

Не было у меня систематической литературной учебы. А если и была, то случайная, неорганизованная, стихийная — это мало приносит пользы. Надо учиться, так сказать,

„технологии“ литературного процесса, надо подходить к произведению, на котором хочешь учиться, так, чтобы видеть, как оно построено, чтобы его блеск не затемнял процесса построения.

Бывает, подходишь к великолепному художественно оформленному зданию, и из-за лепки, из-за скульптуры, из-за внешнего оформления не видишь, как оно построено, как расположены части, как они связаны, какой взят материал. Вот такая точно история вышла у меня с классиками. Я не умел рассматривать и распознавать их построения. Читал, например, Толстого, и у меня ускользала из внимания книга как творческий процесс: я воспринимал у него только события. Скажем, в „Войне и мире“ я слышу, как ходит Наташа, как вошла в комнату, как села за инструмент играть. Толстой с такой изумительной яркостью воспроизводит события, что творческий процесс создания его произведений пропадает. Наташа — живая, но как ее вылепил Толстой, этого не умеешь, это трудно открыть.

От такого восприятия литературных про-

изведений надо отделаться, если хочешь учиться построению образа. Надо уметь, особенно писателям, за жизнью произведения видеть его структуру. Я постепенно этого, наконец, отчасти добился, но добился очень поздно. Я учился этой технологии всю жизнь, и, надо сказать, беспорядочно, потому что некому было мне рассказать, растолковать неясное.

Во время работы над „Железным потоком“ я теоретически был все-таки уж лучше подготовлен, однако недостаточность литературной учебы я ощущал весьма осязательно и в этот период (и ощущаю и теперь). У меня всегда была груда материала, который я тщательно собирал. Но я не умел использовать весь этот материал, тонул в нем. Производство получалось не плохое, но лепилось оно очень хаотическими приемами, материал использовался непропорционально. В данном случае в „Железном потоке“ мне было страшно трудно совладать с пейзажем, чтобы выходило в меру, чтоб не переступить за грань строгой необходимости. Я боялся завалить пейзажем все повествование. Плацдарм „Же-

лезного потока“ я изучил превосходно, — и я мог бы написать много страниц с описанием природы в горах. Я и написал немало, но потом безжалостно вычеркивал, чтобы ради „красивости“ красок не загромождать. Брал из пейзажа только безусловно необходимое для хода событий, для пояснения и оправдания поведения людей.

Я строго выбирал материал соответственно задуманной вещи. И могу сказать — в „Железном потоке“ соблюдены надлежащие пропорции. Пейзаж взят лишь постольку, поскольку он органически входит в ткань произведения. В рассказах же, например, „На льдине“ и в „Снежной пустыне“ этого нет. Там навален пейзаж, и он самодовлеет, существует для какой-то собственной цели. Это свидетельствует о неумении использовать нужное, а остальное отставить.

Я, строго говоря, писатель-бытовик. Всегда во главу ставил быт. Проблемы мои возникают и разрешаются через быт. Но в „Железном потоке“ я — впервые, может быть, за свою многолетнюю литературную деятельность — сознательно, намеренно игнорировал быт.

Здесь я не считал обязательным для себя выявлять бытовые черты героев. Жизнь коллектива требовала других методов обрисовки, не укладывающихся в бытовые рамки.

В „Железном потоке“ я рисую коллективный процесс борьбы, который стремился выявить возможно более сильно и экономно. Это — не эпизод из жизни отдельного героя или маленькой группы людей, где требуется показать как можно ярче человека, его положение, его жизненную обстановку, его специфическую работу, показать его и на людях и у него дома, его личные отношения.

Жизнь огромного коллектива в „Железном потоке“ я считал необходимым рисовать в „крупном плане“ и в убыстренном темпе: ведь в революцию месяц — за год. Мелочи быта затормозили бы и обеднили бы героическое движение и героические цели массы, главное, не дали бы убедительных черт ее облика. Ибо масса, хотя и однородна, но разнородна. Бытовые черты одного человека не могут совпадать с чертами многих других. Тут нужны другие мерилa, другие критерии — чисто психологического, можно сказать,

идеологического порядка.

Я старался поэтому с наибольшей силой выявить в „Железном потоке“ основные мысли, основные идеи, основные задачи массы. И соблюдать огромную экономию — ничего лишнего: не только лишнего человека, но даже лишнего куска пейзажа, лишней фразы, даже лишнего слова, запятой, если они непосредственно не служат для продвижения всего повествования вперед. Это очень сложная работа, которая дается не сразу.

До „Железного потока“ я писал в значительной степени стихийно. Меня тянул за собой материал, а не я располагал его. Да это было не только со мной. Леонид Андреев мне как-то рассказывал, что иногда он пишет — получается великолепный кусок. Чувствует писатель, что очень хорошо обрисовано, а потом оказывается, надо выбросить, потому что лишнее. Как это постигается? Это дается только опытом и выучкой, что мы называем писательским „чутьём“.

В построении „Железного потока“ я действовал не „интуитивно“, а более или менее осмысленно анализируя свою работу. Два с

лишним года я корпел над произведением в восемь печатных листов, и, сравнивая свои вещи, написанные раньше, и „Железный поток“, я много раз убеждался, что в последнем достиг экономии в пользовании материалом и научился строить части целого целесообразно и стройно. Дом как можно построить? По-разному. Можно построить его кособоко или крышу набоку. Так и в художественном произведении: сделаешь здоровую шапку, а остальное скомкаешь, или часть какую выпятишь, удлинишь или сузишь, и в результате части повести и станут несоразмеримы одна с другой. Часто читатель чувствует, что в повести что-то неладно, в чем дело, разобраться не умеет, потому что не умеет анализировать литературный процесс. Говорит: „Да, что-то не то“. Непосредственное впечатление — какое-то разбитое, ощущается неудовлетворенность, потому что повесть построена неправильно. В „Железном потоке“ я твердо знал, чего домогаюсь, что и как строю и что должно получиться. Выношен он был хорошо, зрело: обдуман, взвешен и полновесно отработан, местами, можно сказать, вычеканен.

Тех немногих героев „Железного потока“, которых мне пришлось выделить из массы и выдвинуть на авансцену, я старался осветить с разных сторон; я их ставил в разные положения, в разные отношения с другими людьми, показал их в разных событиях, в разной обстановке, в столкновениях с разными людьми. И каждую „перемену декорации“ делал необходимой произведению для движения его вперед. При этом я учитывал, что надо располагать весь материал по степени важности, чтобы важнейшей части больше места уделить, менее важной — меньше.

У меня при писании „Железного потока“ был обдуманый и разработанный „рабочий план“. Конечно, в точности по плану у меня все-таки не вышло. План в процессе работы мне пришлось в деталях несколько изменить, однако общие черты, основы плана остались те же. Некоторые, по-моему, хорошо написанные сцены, которые выпирали, я без колебаний выбрасывал, много переделывал. Я шел в данном случае за Толстым: Толстой всегда так делал. Андреев тоже мне рассказывал. „Иногда жалко выбрасывать, до такой степени

сцена хорошо вытанцевалась, и люди яркие, — а в целом она не годится, в архитектонике, в плане построения не годится, и надо выбрасывать“.

Этому умению я учился и у Чехова. Мне один из товарищей как-то указал: „Посмотри, как пишет Чехов“. Ему нужно было дать жизнь в уездном городе. Мы бы с вами написали, что вот-де уездный город, немощные, пыльные улицы, свиньи разгуливают и проч. Длинная история... А как Чехов пишет? „Из-за острога всходила луна...“ А потом начинается рассказ. И перед вами — уездный город. Острог ведь бывает только в уездном городе. В деревне острога не бывает. В Москве, в этой громаде, его не увидишь, — в уездном же городе он выпирает. Или так: есть у Чехова одно место, где ему надо было дать лунную ночь. Так он написал: „От мельницы тянулась уродливая тень, а в венце плотины блеснул осколок бутылки...“ А мы бы написали: „...Взошла луна, она лила голубоватый свет...“ и т. д.

Чехов владел изумительной способностью в двух-трех словах дать целую картину. В „Железном потоке“ я старался идти по его сто-

пам и быть, как он, возможно более сжатым и точным.

Я, однако, внимательно следил, чтобы в погоне за сжатостью не выкинуть существенное. Тут уж подскажет художественное чутье, которое надо в себе выработать. Я выбирал такие черты, которые дают читателю живое представление, не расплывчаты и в то же время страшно экономны. Описывая, например, в „Железном потоке“ море, я давал две-три черточки, но наиболее, на мой взгляд; характерные, чтобы читателю сразу запомнились.

И во все время писания „Железного потока“ я непрестанно спрашивал себя, достаточно ли сжато я изобразил. Нет, еще недостаточно, казалось мне, — и я вычеркивал и вычеркивал; жалко было выкидывать то, над чем сидел, думал, что родил в муках. Но ничего не поделаешь. Я был к себе беспощаден.

Я раньше, бывало, частенько заглядывал в хранилища толстовских рукописей, стараясь у старика учиться. Толстой — гениальный из гениальных. А как он работал? Я брал его корректуры и убеждался, что сколько раз ему ни

давай корректуру, он все будет править. Жена его, Софья Андреевна, видя, что от бесчисленных корректур у него глаза лезут на лоб, бывало, возьмет да и отошлет корректурные листы в типографию, так как видела, что если ему двадцать раз принести их, он все будет править.

Так ведь Толстой писал легко, у него мысли и слова лились. Он иногда говорил: „Я сегодня за день написал лист“. Но нужно сказать, что этому предшествовала громадная внутренне-невидимая работа. Вот Толстой ходит, разговаривает, прислушивается, а сам думает: „Ах, а вот Наташа, когда встретилась с Пьером неудачно, так она закрыла лицо руками“. Толстой проснулся ночью, и вдруг ему вспомнилась Наташа, и он опять на разные лады стал перестраивать и ее и окружающих ее людей.

Я лично в корректурах сравнительно мало ломал, уж лишь в случае крайней необходимости — совесть не позволяла бесплодно расточать труд наборщика. Но в своей „лаборатории“ я бороздил рукопись неисчислимыми вставками, вписками, вычеркиваниями, за-

менами, перестановками. Разукрашу так густо, что потом сам не разберу, и переписываю заново, и опять разукрашиваю доотказа.

Л. Андреев, — я видел у него на даче в Финляндии, — ходил по громадной комнате и диктовал машинистке так, что она не успевала за ним писать. Со стороны могло показаться, что легко пишет человек (я, например, сижу с пером и медленно вывожу букву за буквой). Оказывается, Андреев предварительно проделывал громадную работу. Когда? Пойдет, бывало, гулять — думает. Поедет на велосипеде — думает. У разных авторов разные манеры обдумывать. Одни сидят над бумагой, другие думают во время прогулок. Я обдумывал „Железный поток“, сидя с пером в руках часами, ночью и днем, над бумагой. Работа над „Железным потоком“ протекала трудно. Порой работал до полного изнеможения, падал на диван от усталости и засыпал. Просыпался — и опять начинал грызть ручку, опять вставлять, переставлять, вычеркивать. Потому что, даже когда мне казалось, что произведение совсем готово, я вдруг наталкивался на какое-нибудь хорошее емкое словечко, или я

решал что-нибудь добавить или выкинуть. Таким образом до появления „Железного потока“ в печати текст его сильно видоизменялся, однако не сплошь, а лишь отдельными кусками, которые я переписывал иногда по три, четыре, пять, семь раз.

С течением времени пришлось внести кое-какие поправки в первоначальную редакцию. У меня, например, вначале так и было, как мне рассказали таманцы, что Кожух выдрал партизан, но потом я эту сцену переделал. Дело было так. Пошел я прочитать свою вещь в кружок „Рабочая весна“, собрались там рабочие и красноармейцы. Прочитал я им эту главу, вижу — кучка красноармейцев поднимается и уходит. Возмущены: „Как так — драли? Это оскорбительно“. Я говорю им: „Милые товарищи, не забывайте, что это были партизаны в начале революции; дисциплина тогда только внедрялась, и установить ее было нелегко. Случалось, что прибегали к строжайшим мерам, но все-таки боролись с грабежами и насилиями...“ Однако же в конце концов я согласился с ними. Они были правы: художественно правдивее, вернее, если

сцены порки не будет. Ведь что нужно было показать и в чем убедить? Что масса безропотно подчинялась дисциплине. Это — достигнуто. Я был очень благодарен красноармейцам. „Правильно, — говорю, — ребята. Изменить надо“.

Чем же разнится последний текст „Железного потока“ от первоначального? С тех пор как книга появилась впервые в печати, я ее в общем мало перерабатывал. Переработаны только отдельные места.

Почти четверть века, год за годом, издается и переиздается „Железный поток“ в столичных и областных издательствах. За это время я мало работал над текстом этого произведения. Однако каждый раз, при каждом переиздании, не удержусь: кое-что да изменю, внесу поправку. За долгие годы этих поправок накопилось изрядно, и они несколько изменили первоначальный текст альманаха „Недра“. Все же и в настоящее издание я, совместно с редактором этого собрания сочинений Г. Нерадовым, внес кой-какие поправки, которые показались нам необходимыми.

И еще — в заключение...

Меня спрашивали много раз, не нахожу ли я сам недостатков в „Железном потоке“? Да, нахожу. Я думаю, что людей, всю массу я изобразил, — поскольку мне судьбой отпущено, — сравнительно неплохо, местами довольно выпукло. Но все же в повести есть крупный недостаток, которого я бы не сделал, если бы мне пришлось писать „Железный поток“ теперь. Дело в том, что я в этой вещи не показал прямо, как пролетариат руководит крестьянством. У меня там это руководство, так сказать, молчаливо подразумевается, — ведь Кожух не из пальца же высосал то, что он говорил своим войскам о Советской власти, о революции. Он откуда-то это взял. Откуда же он мог взять? Не от крестьян же, среди которых он находился. Взял он это от революционного пролетариата. В общем, руководство пролетариата чувствуется, но это нужно было бы гораздо ярче подчеркнуть живыми образами партийцев. Нужно было показать рабочих. Я допустил эту ошибку потому, что рабски следовал за конкретными событиями, а в них рабочие играли небольшую роль. Мне следовало показать рабочих в руководящей

роли. Эта ошибка — крупная.

„Железный поток“, по-моему, вообще нуждается в доработке, его бы расширить надо, углубить. Но дело в том, что я от него уже отошел, как-то потускнела для меня тема гражданской войны. Сейчас уж смотришь на другое, занимает другой материал — материал социалистического строительства...

С ВЫСОТЫ ВОСЬМИДЕСЯТИ ПЯТИ ЛЕТ

Скитаюсь, бывало, по горным кряжам. Идешь и идешь, поднимаешься все выше, выше, в гору. Перед глазами кусты, камни, змеистая тропа. Болят ноги, тревожно и напряженно бьется сердце; на лбу — испарина и набухшие жилы. Тяжел и труден подъем. Хочется сесть или лечь, а то и отказаться от подъема к манящей вершине. И вдруг оглянешься и ахнешь: какой простор открывается с вершины! И радостно вздохнешь... И почему-то грустно, и рой неосознанных дум и образов волнует сердце.

Так вот и сейчас — с высоты своих восьми-десяти пяти лет, оглядываясь на ушедшие десятилетия, невольно хочется вскрикнуть:

— Друзья! А жизнь-то какая чудесная! Да как она вкусно пахнет!

...Шалит сердце; какие-то колесики и пружинки внутри поскрипывают; отяжелевшие ноги подгибаются и тянут прилечь и забыть-ся. А оглянешься на пройденное, вдохнешь гу-

стой аромат нашей жизни — и хочется опять продолжать подъем, преодолевать все препятствия, лишь бы еще... ну хотя бы вот до этой вершины подняться и там, оглянувшись, порадоваться голубым бескрайним просторам нашей жизни, ее многоцветной и ароматной радости...

Мне выпало большое счастье: я стою на пороге коммунизма. Коммунизм подходит в пламени войн, порою в голоде, в холоде, в смертных муках, медленно, но — непрерывно, неуклонно и неотразимо. Часто его не угадываешь. Но он, коммунизм, с несокрушимой силой мнет старые привычки жизни, старые отношения людей друг к другу, прокладывая новые пути.

...Прекрасна наша повседневная ожесточенная борьба, прекрасна наша жизнь, еще прекрасней будущее. И я безмерно счастлив, что из мрака прошлого, преодолев владычество трех царей, мне удалось хоть краешком глаза заглянуть в будущее нашей Родины, наших людей. И хочу по-стариковски сказать молодежи напутственное слово:

— Жизнь пахнет упоительно! Жизнь на-

ша — необъятный голубой простор моря! Так украшайте эту жизнь еще более, еще более раздвигайте ее просторы!

Примечания

Очерки. Статьи. Фельетоны. Выступления

Сумерки. Впервые — газ. «Донская речь», 1899, 31 мая, в серии очерков о Ростове-на-Дону.

Как создается газета. Впервые — газ. «Донская речь», 1900, 25 и 30 июля, в серии «Беседы с читателем»,

Опять посетители. Впервые — газ. «Донская речь», 1901, 9 декабря, в серии «Беседы с читателем».

Действующие лица фельетона «Опять посетители» — это «герои» фельетонной серии Серафимовича «Беседы с читателем». «Пакостник», гонитель печати, «председатель ученого общества» — это «просвещеннейший из просвещенных» мужей ученого Общества, который побоялся допустить на заседание общества представителя печати; «юбиляр» — начальник управления Владикавказской железной дороги, приказавший по случаю собственного юбилея собрать со служащих дороги деньги ему на подарок; «человек, постро-

ивший вавилонскую башню», — действующее лицо сказки «Светочи» (см. т. 2, стр. 197).

[Сарказм — могучее оружие]. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 19 марта.

[Странные, подчас трудно объяснимые вещи...]. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 11 апреля.

[Из всех зол и несчастий...]. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 13 апреля.

Братья-газетчики. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 19 мая.

Для того времени любопытен сам факт столь большой и ревностной заботы литератора о единстве, сплоченности «братьев» своего «цеха».

[Умер доктор философии Филиппов...]. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 22 июня.

Первые страницы. Впервые, под заглавием «Два момента», — газ. «Русские ведомости», 1911, 6 ноября.

Серафимович никогда не виделся с Л. Н. Толстым, но о заочных «встречах» с ним он говорит на протяжении чуть ли не всей своей творческой жизни, считая великого реалиста своим учителем, и эти его «впечатления» но-

сят такую силу, какой не найти в воспоминаниях иных литераторов, не раз встречавшихся с великим писателем. Л. Н. Толстой и своим образом жизни, и своим творчеством оказал большое влияние на А. С. Серафимовича. Многие мысли об этом, намеченные в «Первых страницах», писатель в дальнейшем развил и пояснил. «В этом очерке я рассказываю о своей „первой встрече“ в детстве с Толстым. Раз речь зашла о Толстом, то позвольте уж мне поделиться с читателем своими дальнейшими „встречами“ с Толстым, которые сыграли большую роль в моей писательской судьбе. Я долго был современником Толстого, но никогда его не видел и с ним не беседовал... Толстой оказывал громадное влияние на современных ему писателей. Чем? Своим мастерством, лепкой своих произведений, образцами своей работы. Нельзя было не остановиться в изумлении перед тем, как он умел замечательно кроить характер, вычерчивать своеобразные внутренние черты отдельных людей, пронизывать до дна их психологию и сцеплять отдельные звенья в стройную цепь отношений и коллизий, из которой ничего не

выбросишь. При этом не могли не действовать его чрезвычайная простота и искренность. Самые слова Толстого — не книжные, а взятые из живого разговорного языка. Толстой обогащал внутренний литературный язык, поскольку живой язык гибче, богаче цветами и формами, чем литературный язык...

Не знаю, как другие, но я должен сказать, что из всех писателей, русских и иностранных, наибольшее влияние оказывал на меня он. Не то, чтобы я сознательно подражал, садился и начинал писать под Толстого, но его методы, помимо моей воли, впитывались в меня. Да и сознательно, если вдуматься, я учился всегда у Толстого...

Я старался, по Толстому, подбирать наиболее близкие для определения понятия слова, наиболее полные, наиболее плотно прилегающие к образу и наиболее многосторонние, объясняющие данную черту человека, данное его настроение... Я присматривался, с каким пониманием Толстой подбирал наиболее емкие, наиболее красочно определяющие слова...

Гениальность Толстого как литературного творца в том и заключается, что за образами его не чувствуешь языка, не чувствуешь словесного покрова. Забываешь, что книгу читаешь. Книга исчезает, а видишь собственными глазами, как ходят люди, как колышутся листочки на деревьях, как пасутся лошади на пригорке. Буквы, бумага уходят куда-то в тень, а впереди — брызжащий жизнью человек...

Очерк „Первые страницы“ я считаю весьма показательным в смысле влияния на меня Толстого с самого детства. От Толстого легко не отмахнешься. До конца дней своих его ощущаешь возле себя, над собою» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. V, М., ГИХЛ, 1948, стр. 343–346).

Писатель и читатель. Впервые — журн. «Путь», 1913, № 1.

Для Серафимовича вопрос о взаимоотношении писателя и читателя всегда был очень важным и мучительным. «До Октябрьской революции писатель был злонамеренно разобщен с читателем. Между писателем и читателем самодержавие воздвигло глухую стену.

Для меня лично это была, можно сказать, трагедия. Я замучил себя вечным вопросом, на который не мог по тем временам получить ответ: „Кто же он, наконец, мой читатель?..“ „Мой“ читатель был для меня недостижим: я знал, что он забит непосильным скотским трудом, горем и нуждой, что ему подчас не до книги, что он малограмотен.

Читателей при царизме вообще было мало, — несравненно меньше, нежели в наши дни. Читатель тогда считался категорией вредной, „подозрительным элементом“ (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VI, М., ГИХЛ, 1948, стр. 432).

В одной из статей 1913–1914 годов Серафимович писал: „Из десятков, из сотен, [4] тысяч... оставшихся от забвенья вещей только одна идет в века и светит всему человечеству. Трудно представить себе ту безмерно-колоссальную грудку произведений человеческого творчества, которая навсегда умерла, истлела в памяти людской.

Кто же судия, кто тот грозный судия, который неумолимо, бесстрастно посылает ошую на тлен и мертвое забвение выстраданные

мукой и болью человеческого творения и легким мановением десницы оставляет каплю из этого океана нетленно сиять вовеки?

Кто тот судья?.. читатель, читатель во всей своей массе. То многоголовое чудовище, которому художник и отдает лучшие жемчужины души своей.

Но ведь читатель не представляет из себя определенной величины. Это понятие собирательное. И внутри его чудовищно перепутано невежество, образованность, тончайший вкус и безвкусие, лицемерие и искренность, грубость и нежнейшие душевные оттенки, стадность, гордо признанная индивидуальность.

Этот многоликий судья судит вкось и вкривь, возвеличивает бездарности, проходит мимо жемчужин творчества, спохватывается, поклоняется до иступления, завтра поворачивается спиной к своему кумиру, топчет его презрением и замалчиванием, создает на художников моду, слепо подчиняется ей, как закону.

Да. Из тысячи умов, из тысячи сердец слгаается как бы фильтр, сквозь который медленно, часто запутанно, часто уродливо и бо-

лезненно просачиваются произведения человеческого творчества. Но в конце концов весь отброс, вся накипь и плесень, отравы, пошлость и бездарность задерживаются и сгнивают, а проходит тонким сверкающим ручейком только драгоценная чистота человеческого гения и таланта.

...Читатель, честно и строго относящийся к лучшему дару судьбы, к творчеству, скажет художнику: не заигрывай с нами, не унижайся перед нами, но и величественно не презирай нас, ибо ты кость от кости нашей и плоть от плоти нашей. Не кумира из тебя сотворим и не грязью наших сапог будем топтать тебя, а как брата, несущего нам сердце свое, примем тебя..." (А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов, М., ГИХЛ, 1958, стр. 275–278).

Трещина. Впервые — газ. „Известия“, 1917, 27 августа (9 сентября).

„Эту классовую трещину — вернее, пропасть — я отмечал в газете уже в августе 1917 года, т. е. до Октября, — вспоминал в 1948 году писатель. — Я уже тогда отдавал себе ясный отчет, что трещину ничем не заполнить и что

социальная революция будет доведена большевиками до конца...” (А. С. Серафимович. Собр. соч., 1948, т. VIII, М., ГИХЛ, стр. 427).

Пауки и кровососы. Впервые — Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948.

Очерк является частью брошюры „Рабочее движение в России“. Выпущенная в 1917 году московским издательством „Книга и жизнь“ в серии „Популярная общественно-политическая библиотека“, эта брошюра стояла в одном ряду с другими агитационными брошюрами Серафимовича, написанными по заданию Московского Совета рабочих депутатов в предоктябрьские месяцы 1917 года.

По свидетельству самого Серафимовича, этот „очерк“ („Рабочее движение в России“. — Г. Е.) „в дни Октябрьской революции... имел широкое хождение среди рабочих московских заводов и фабрик, а также на фронте“ (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 426).

В капле. Впервые — газ. „Известия“, 1917, 12(25)декабря, под рубрикой „Впечатления“.

Наказ красногвардейцам, едущим на Дон. Впервые — газ. „Социал-демократ“, 1917, 15

(28) декабря.

Прокламация была написана Серафимовичем по поручению Московского комитета РСДРП.

Осиное гнездо. Впервые — газ. „Известия“, 1918, 23(10) февраля.

Сам писатель так прокомментировал этот очерк: „Мой старший сын Анатолий, погибший потом на врангелевском фронте гражданской войны, учился в Московской гимназии Адольфа. Его там травили как сына большевика. Я написал этот рассказ с целью разоблачить контрреволюционный характер этого учебного заведения“ (А. С. Серафимович, Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 427).

Как мы читали Карла Маркса. Впервые — журн. „Творчество“, 1918, май, № 1.

Сосланный на далекий Север, в глухой заштатный городок Мезень, Серафимович сблизился с отбывающим там же ссылку рабочим-революционером Петром Моисеенко. Вместе с ним и еще несколькими ссыльными поселенцами они создали коммуну, столярничали, зарабатывали на жизнь, а в свободное время штудировали „Капитал“. „Ссылка

была для меня „вторым университетом“. Изучение Маркса на всю жизнь определило направление моего писательского пути“ (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 428).

Из мрамора творящий жизнь. Впервые — журн. „Творчество“, 1918, май, № 1, под псевдонимом „Курмаярский“.

К. А. Тимирязев. Впервые, под названием „Пророчество“, — газ. „Правда“, 1919, 17 августа.

Работники земли советской. Впервые — газ. „Правда“, 1921, 25 декабря.

„Тогда открывался в торжественной обстановке IX съезд Советов, — вспоминал Серафимович. — С большим докладом выступил товарищ Ленин. Редакция „Правды“ поручила мне дать „впечатления“ о съезде. Я горжусь теперь тем, что мой очерк был напечатан в газете под общей „шапкой“ перед докладом Ильича. Этот очерк мне дорог, как память об Ильиче, о его широком убеждающем жесте, о его ораторской силе, которая внушала веру и бодрость в самые трудные моменты существования советской власти, когда нам сжи-

мали горло „цивилизированные“ варвары“ (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1948, стр. 430–431).

В этой связи представляет большой интерес и запись Серафимовича о выступлении В. И. Ленина на VIII Всероссийском съезде Советов.

„22 декабря 1920 г.

...Ленин. Торопливо, немножко неуклюже. Слегка хриповатый, картавый голос, и странно убедительный, и обаятельный. И в этой картавости странный аристократизм.

Движения и жесты тоже неуклюжи, часто некрасивы и в то же время страшно обаятельны, ибо удивительно сливаются с сущностью речи. Некоторая гортанность говора тоже.

Принуждение на убеждении.

Голос как будто и не особенно громкий и ненапряженный, а слышно в самых далеких углах, и интонация живая, не подавляемая напряжением, усилием“ (А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов. М., ГИХЛ, 1958, стр. 492).

Т. Г. Шевченко. Впервые — „А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведе-

ний и материалов“, М., ГИХЛ, 1958.

Это черновой набросок выступления А. С. Серафимовича на вечере памяти Т. Г. Шевченко 20 марта 1921 года в связи с шестидесятилетием со дня смерти великого украинского поэта.

Анисимович. Впервые — газ. „Правда“, 1923, 2 декабря.

Кружковое занятие рабкоров. Первая публикация не установлена. Впервые сб. „Прожитое“, М., 1938.

В основу статьи легла беседа А. С. Серафимовича с рабкорами, которая состоялась 16 декабря 1924 года.

Предисловие к „Мятежу“ Дм. Фурманова. Впервые — в книге „Мятеж“ Д. Фурманова. М., ГИЗ, 1925.

Федор Гладков и его „Цемент“. Впервые, под заглавием „Цемент“ (роман Ф. Гладкова)», — газ. «Правда», 1926, 16 февраля.

«С Гладковым мы встречались в 19-20-х годах в „Кузнице“, — вспоминает Серафимович. — Мы с ним близко сошлись. Он рассказывал мне, что начинает работать над „Цементом“.

Побывав в „лаборатории“ писателя, я получил возможность поближе его узнать. Он поразил меня необыкновенным упорством и своим нервным „подъемом“ в работе...

Мне он читал „Цемент“ кусками, по мере того как писал. Делился со мною своими творческими радостями и огорчениями. Я старался рассеять его страхи и сомнения и поддержать в нем бодрость.

Наконец он кончил. „Цемент“ был напечатан, и я дал отзыв. Характеристику, данную тогда, я и теперь считаю совершенно правильной. Удельный вес Гладкова — большой. Яркий художник, своеобразный художник. И огромная в нем сила обобщения» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 457).

Умер художник революции. Впервые — газ. «Правда», 1926, 17 марта.

Предисловие к «Донским рассказам» М. Шолохова. Впервые — в книге «Донские рассказы» М. Шолохова, изд. «Новая Москва», 1926.

Автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» всегда с теплотой отзывался о Серафимовиче,

который первым из писателей поддержал его в начале литературной деятельности и сказал ему «слово одобрения». Встречи с Серафимовичем оставляли в сердце Шолохова теплоту и радость.

«Это настоящий художник, большой человек, произведения которого нам так близки и знакомы. Серафимович принадлежит к тому поколению писателей, у которых мы, молодежь, учились, — вспоминал Шолохов. — Лично я по-настоящему обязан Серафимовичу, ибо он первый поддержал меня в самом начале моей писательской деятельности, он первый сказал мне слово ободрения, слово признания...

Мы знаем и ценим Серафимовича как одного из тех писателей-большевиков старшего поколения, которые сумели пронести сквозь тьму реакции всю чистоту и ясность своей веры, оставаясь преданными революции и рабочему классу в самые тяжелые годы, когда немало людей изменило пролетариату» (Михаил Шолохов. Собр. соч. в восьми томах, т. 8, М., изд. «Правда» (Библиотека «Огонек»), 1975, стр. 68–69).

Есенин. Впервые — в книге «А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов», М., ГИХЛ, 1958. Ориентировочно дата написания — 1926 год.

После самоубийства Есенина 28 декабря 1925 года в печати появилось большое число статей, стихов и воспоминаний о нем. Попытка Серафимовича написать статью о Есенине, видимо, и была вызвана шумихой вокруг имени поэта.

Вечера рабочей критики. Впервые — газ. «Правда», 1927, 25 февраля, с подзаголовком «Ленинградский союз металлистов».

«Я всю жизнь учился и теперь учусь у рабочих и простому выразительному языку и их трезвой, основанной на большом опыте, оценке явлений социального порядка, — подчеркивал Серафимович. — По их выступлениям я чувствовал, что в восприятии и понимании некоторых явлений у них своеобразная точка зрения — и более правильная, чем у меня» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 457–458).

Читатель и писатель. Впервые — журн. «На литературном посту», 1927, № 22–23 (но-

ябрь-декабрь), с подзаголовком «Из выступлений и ответов на вопросы на вечерах рабочей критики в Ленинграде 11, 12 и 13 февраля 1927 года».

Откуда повелись советские писатели. Впервые — газ. «Правда», 1927, 7 ноября, под заглавием «Откуда повелась пролетарская литература».

Из дневника писателя. Впервые — журн. «Октябрь», 1929, кн. I.

Тисса горит. Впервые — газ. «Правда», 1929, 21 марта.

Статья посвящена роману Белы Иллеша «Тисса горит».

Живой завод. Впервые — газ. «Правда», 1932, 21 февраля.

Статья посвящена роману В. П. Ильенкова «Ведущая ось» («Октябрь», 1931, No№ 10–12).

Рассказ о первом рассказе. Впервые — газ. «Коммуна» (Воронеж), 1933, 1 ноября, в статье «Слить свою работу с работой масс», с подзаголовком «Рассказ о первом рассказе». Является частью выступления на литературном вечере в Доме Красной Армии Воронежа 21

октября 1933 года.

О писателях «оближенных» и «неоближенных». Впервые — «Литературная газета», 1934, 6 февраля, в порядке дискуссии к намеченному I съезду писателей. После появления в печати этой статьи в «Литературной газете» 14 февраля было напечатано «Открытое письмо А. С. Серафимовичу» М. Горького (см. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 27, М., ГИХЛ, 1953, стр. 147), а 1 марта — ответ Серафимовича А. М. Горькому (см. наст. том, стр. 401).

Ответ А. М. Горькому. Впервые — «Литературная газета», 1934, 1 марта.

Радиоперекличка писателей. Текст выступления А. С. Серафимовича по радио 6 ноября 1934 года, в канун годовщины Октября, которое называлось «Единственная в мире социалистическая литература». Впервые напечатано в Собр. соч., М., ГИХЛ, 1948, т. X.

Две встречи. Впервые — журн. «Октябрь», 1936, № 12.

Написано так, что запоминается. Выступление Серафимовича на заседании Президиума Союза советских писателей в квартире Н.

А Островского 15 ноября 1936 года, посвященном обсуждению первой книги романа «Рожденные бурей». Впервые напечатано в журн. «Молодая гвардия», 1937, кн. 2.

Художник слова. Впервые — газ. «Литература и искусство», 1943, 25 сентября.

Очерк о творчестве С. Н. Сергеева-Ценского написан в связи с выдвижением его кандидатуры на соискание высокого звания академика АН СССР.

Мои встречи с Лениным. Впервые — в книге «А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов», М., ГИХЛ, 1958.

Писатель-патриот. Впервые, под заглавием «Народный писатель», — газ. «Комсомольская правда», 1945, 27 февраля.

В гостях у Ленина. Впервые — журн. «Красноармеец», 1946, № 2.

«Робость, что ли, природная или застенчивость всю жизнь не позволяла мне добиваться встреч с великими моими современниками... Так бы, верно, я и у Ленина не побывал. Но большевики трогательно внимательны к людям — и Ленин позвал меня к себе, при-

слав за мной машину.

Свидание с Лениным оставило во мне неизгладимый след на всю жизнь. Внимание и поощрение великого вождя оказало влияние на всю мою дальнейшую писательскую судьбу», — вспоминал Серафимович (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948, стр. 455).

Москва. Впервые — в книге «А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов», М., ГИХЛ, 1958.

Воспоминания о Горьком. Впервые — собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948.

Очерк составлен автором из ранних публикаций 1931–1946 годов в газетах и журналах. В настоящем издании дается с незначительными сокращениями.

«Горький в истории мировой литературы — это целый период, это целая школа, которая помогла выдвинуть русскую литературу на первое место в мире», — говорил Серафимович в 1948 году (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, стр. 463).

Михаил Шолохов и его «Тихий Дон». Под этим заглавием в Собр. соч. 1948 года писа-

тель объединил статью «Тихий Дон» (впервые была напечатана в газ. «Правда», 1928, 19 апреля, а затем, под названием «Вместо предисловия», была помещена в издании «Тихого Дона» 1928 года — «Роман-газета», № 12(24) и биографический очерк «Михаил Шолохов» («Литературная газета», 1937, 26 ноября).

«С Шолоховым нас связывает более чем двадцатилетнее знакомство и дружба. Я обратил внимание на его орлиный талант, когда еще был редактором журнала „Октябрь“ и стал впервые печатать в этом журнале его „Тихий Дон“... Позднее мы много встречались, и каждая встреча оставляла в сердце моем теплоту и радость» — так комментирует сам писатель свой очерк (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. X, М., ГИХЛ, стр. 458).

Из истории «Железного потока». Впервые напечатано в издании «Железного потока», 1930, под заглавием «Как я писал „Железный поток“».

С высоты восьмидесяти пяти лет. Речь писателя, произнесенная 14 января 1948 года на собрании московских писателей, посвященном чествованию А. С. Серафимовича по слу-

чаю его 85-летия. Впервые напечатано в Собр.
соч., т. X, М., ГИХЛ, 1948.

Год: 1948

Примечания

1

повесили портреты вождей

[^^^]

2

ему

[^^^]

3

K

[^^^]

ИЗ

[^^^]